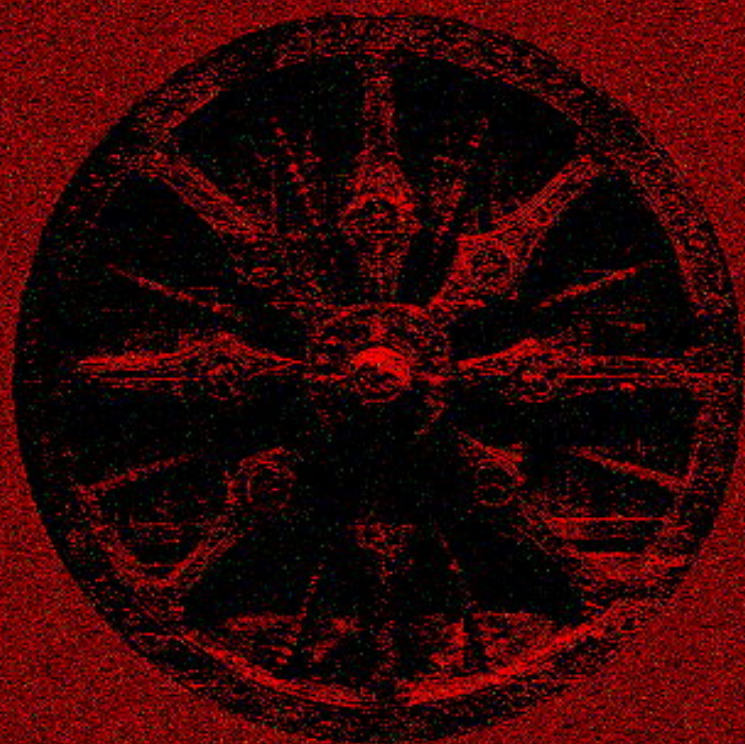


[Polaris]

АНТОН
УЛЬЯНСКИЙ



ПУТЬ
КОЛЕСА

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССXXXIII



Salamandra P.V.V.

**АНТОН
УЛЬЯНСКИЙ**

ПУТЬ КОЛЕСА

Роман

Salamandra P.V.V.

Ульянский А. Г. (Свинцов В. Н.)

Путь колеса: Роман. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 252 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССXXXIII).

В книгу вошел единственный фантастический роман А. Ульянского «Путь колеса» (1930) – «одно из самых оригинальных произведений советской довоенной фантастики» (И. Халымбаджа), повествование о борьбе с чудовищным, разрушающим Землю «колесом» – изобретением уставшего от европейской бойни ученого. Но главное в романе – не НФ-допущения, а убедительные сатирические и «постапокалиптические» сцены, в самом же «колесе» нетрудно распознать метафору кровавых исторических процессов.

В издание также включен предшествовавший роману рассказ «Колесо» (1925), воспоминания об авторе К. Паустовского и Л. Борисова и заметка И. Халымбаджи.

ПУТЬ КОЛЕСА

АНТОН УЛЬЯНСКИЙ

ПУТЬ КОЗЕД

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
В ЛЕНИНГРАДЕ

1. МАГНУС ДАРРЕЛ Ъ

Осенним утром Магнус Даррель вышел на крыльцо своего дома. Это был час, когда его дочь Анна выгоняла в поле коз. Она была еще во дворе и приветствовала его, удивившись его раннему появлению. Отец не вмешивался в ее хозяйство и обычно в эти часы спал или сидел в своем кабинете. Она спросила, не хочет ли он есть. Он отказался рассеянно и торопливо. У него был беспокойный, выжидающий вид. Ей показалось, будто он ждет, чтобы она поскорее ушла со двора. Выгнав коз, она с дороги оглянулась на отца. Он все еще стоял на крыльце и смотрел ей вслед.

Даррель подождал, пока дочь отойдет подальше, ушел в дом и вернулся, неся в руках предмет в железном футляре. Он выкатил из сарая тележку, на которой Анна возила молоко, взвалил на нее футляр, взялся за веревку и потащил тележку в сторону, противоположную той, в какую ушла его дочь.

Дорога шла по унылым заброшенным местам. Дома попадались редко и стояли в стороне от дороги. Несколько возделанных картофельных участков виднелось в разных концах огромного пустыря. Один из этих участков принадлежал Даррелю, но он не знал, какой именно. Все они были огорожены рядами электрической проволоки для защиты от воров. В прошлое время весь урожай с их гряд не стоил бы и одного ряда приспособлений, предназначенных для их охраны, но во время голода соотношение стало другим.

С холма перед ним открылся пустой океанский берег и город у залива. Это был Клифтон, еще недавно, в первой половине столетия, имевший значение как портовой город ирландско-американской линии. Сейчас порт не работал и немногие суда, оставшиеся там, стояли неподвижно у пристаней. Со времени войны сообщение с Америкой было прервано. Сторожевая линия, которой Америка защищала себя от европейских влияний, наглухо перегораживала

океан. Пароходы и аэропланы не пропускались из Европы, ее радиоволны отбрасывались, всякая связь между материками была прервана.

На пологом склоне по другую сторону холма Даррель остановился, распаковал футляр, вынул серый круглый предмет и осторожно поставил его на землю. Предмет имел форму колеса и был вышиной в половину человеческого роста. Он производил заурядное впечатление. Случайный прохожий, увидев его, подумал бы, что это обыкновенный точильный камень. Разглядев предмет поближе, он заметил бы детали вращательного механизма посередине, катушку и лопасти, и решил бы, что эта какая-нибудь более замысловатая вещь. Но никто не встретил Дарреля на его пути через холмы, да и некому было ходить в этих опустелых местах.

Даррель разостлал на земле карту и по компасу определил направление для колеса. Он долго ползал по земле, передвигая колесо на ничтожные величины вправо и влево. Окончив установку, встал с колен и долгое время простоял не двигаясь, собираясь с силами.

Им овладели вялость и нерешительность. Он протягивал руку к механизму посередине колеса и опускал ее. Он походил на человека, который долго готовился к какому-то делу, но в момент, когда остается лишь притронуться к кнопке, чтобы пустить его в ход, боится этого движения, старается его отдалить. Он сел на камень, набил трубку и медленно раскурил ее, желая выиграть время. И вдруг, не кончив курить, встал, подошел к колесу и небрежным жестом включил мотор.

Лопастей посередине колеса задвигались, внутренний круг начал вращаться. Когда скорость оборотов достаточно возросла, лопасти загудели, а затем все колесо, отлипнув от земли, тронулось с места и покатило по склону холма.

Даррель следил за ним в бинокль и одобрительно кивнул головой, когда в семистах метрах от вершины внутренний металлический круг отделился от колеса и, продолжая крутиться в воздухе, отлетел в сторону.

Серая масса двигалась теперь сама, преодолевая неровности и не меняя направления, а когда на ее пути встретился большой камень, произошел взрыв, камень исчез, а колесо, не отклоняясь в сторону, покатилося дальше, оставляя позади себя неширокую рытвину, с кучами выброшенной земли по краям и малиновой дымящейся водой посредине.

Даррель перевел дух и снова приник к стеклам, готовясь к новому и решающему испытанию.

Колесо приближалось к воде. Ветер гнал волны к берегу навстречу колесу. Даррель закрыл глаза, боясь увидеть его гибель. Когда он снова посмотрел в стекла, колеса уже не было видно. Волны покрыли его, но столб воды шел впереди него, показывая его путь по дну океана. Волны смыкались, приняв обрушившуюся сверху массу воды. Столб воды уходил все дальше, пока не исчез из вида.

Даррель следил за ним до последнего момента, а затем опустил руку с биноклем и рассмеялся. Чувство торжества овладело им, но сейчас же он подавил его в себе, перестал улыбаться и задумался. Выражение настороженности и недоумения появилось на его лице. Это были ощущения человека, который много лет назад рассчитал каждую мелочь, взвесил все условия и предугадал все последствия, но в момент, когда в действительности все оказалось именно таким, как он предполагал, не верит, боится верить, что он и в самом деле ни в чем не ошибался. Он долго просидел, не двигаясь, с смутными горделивыми и тревожными мыслями.

Затем трезвое настроение вернулось к нему. Тележка, на которой было привезено колесо, и железный футляр были перед ним, и он долго смотрел на них, не понимая, что это за вещи и как они сюда попали. Придя в себя окончательно, он взялся за веревку и потащил тележку в обратный путь. Его спина горбилась, когда он возвращался назад. Он чувствовал себя усталым и постаревшим.

Анна еще не возвращалась с поля, когда он добрался до дому. Он поднялся к себе в кабинет и поставил футляр на его обычное место. Пошел на кухню, разыскал пищу и с аппетитом поел. Затем он снова вернулся в кабинет и сел

за письменный стол.

Он хотел подвести итог сделанному и наметить будущее. Он исписал несколько листов, подолгу задумываясь, со многими поправками.

«Мне пятьдесят семь лет, — писал он. — Из них сорок лет я посвятил работе, которая сегодня мною окончена. Я достиг цели. В моих руках созидание и разрушение. Я начал с разрушения, чтобы расчистить почву, слишком загрязненную»...

Рассуждения, которыми Даррель обосновывал необходимость разрушения, были длинными и запутанными и свидетельствовали о том, что в этом вопросе у него не было твердой точки зрения. Они поставили бы в тупик читателя его рукописи и отбили бы у него охоту дочитать эту часть рукописи до конца.

Вторая часть рукописи касалась химии колеса и умещалась в нескольких строках:

«Ф о р м у л а к о л е с а». Две строчки химической формулы, в которой встречались и обозначения для элементов, неизвестных в химии.

«П у т ь к о л е с а». Прямая линия с уклоном в четверть градуса на длину тропика.

«К о г д а о с т а н о в и т с я к о л е с о?» Здесь стояло всего одно слово: «Н и к о г д а!» Но сбоку мелкими буквами было приписано: «Если только оно не попадет на свой собственный след».

В самом низу стояла дата и подпись Дарреля.

Он вложил листок в папку с надписью «Колесо», поднялся по приставной лестнице к шкафу с множеством ящичков и положил папку на самую верхнюю полку. Затем снова сел к столу и на блокноте на верхнем листке написал номер полки и ящика.

Он просидел еще некоторое время в молчании, перебирая бумаги, и вдруг заметил, что бумаги перестали интересовать его.

У него появилось чувство, что ему больше нечего делать в этой комнате, и, с недоумением оглядев кабинет, он встал и сошел вниз, к дочери. Он попросил есть, был разговор-

чив и провел с дочерью весь вечер. Разговаривая, он всматривался в лицо дочери и испытывал удивление и нежность. В этот вечер химик Даррель впервые заметил, что его дочь была взрослой, красивой девушкой.

Он лег спать умиротворенный и счастливый, но среди ночи проснулся с тяжелым чувством и не спал до утра. Ему снилось, что волны задавили его колесо. Он больше не верил в безошибочность своей формулы. Ему надо было самому посмотреть, все ли еще продолжает лететь столб воды над океаном. Известия об этом могли когда-нибудь прийти из Америки, но он был не в силах ждать.

Утром он объявил дочери, что у него есть спешное дело на севере Ирландии и пошел в ангар выводить свой аппарат. Анна вышла его проводить. Аэроплан взял курс на север, но в нескольких километрах, когда она уже не могла видеть его, сделал поворот и на большой высоте снова пролетел над Клифтоном с направлением на океан и Америку.

2. ВОСПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ НА ЖЕРТВЕННИКАХ

За несколько лет перед этим Анна была с отцом на Каспийском побережье. Дарреля в эти края привлекла нефть. Он искал танарий и знал, что рядом с нефтью можно найти и танарий.

Стояли жаркие дни, и Анне не понравилась страна, в которой насосов и цистерн было больше, чем деревьев, и где на земле между трубами, уносившими нефть вглубь страны, стояли темные лужи и росла колючая трава.

Даррель хлопотал о разрешении пошарить в отработанных скважинах. Анна искала в путеводителе места, которые следовало посетить. Путеводитель плохо отзывался о стране. Он предостерегал туристов против близкого общения с жителями, нравы которых своеобразны, но недостаточно изучены, и напирал на памятники древности. Древнейшим был старый храм огнепоклонников, находившийся в глубине промысловой территории.

Анна разыскала его. Место около храма заросло колючками. Вход в него был заложен камнями, но с ограды соседнего промысла на стену храма была переброшена доска. Анна поднялась по доске и спустилась во внутренний двор.

Какие-то люди проложили этот путь. Они протоптали уступы в стене, по которым спускались вниз. Для них был повешен плакат с правилами поведения. Для них же предназначалась плевательница в углу, заброшенная окурками.

Анна обошла двор, приглядываясь к камням. Широкая стена смыкалась овалом. Каменные кельи внутри стены, каменные лежа в кельях были низкие и максимально неудобные. Они говорили о психике, которой она не могла понять. Каменный жертвенник посреди двора и четыре столба над ним сохраняли черный след огня. Письмена, высеченные над входами, проросли мхом.

Камни храма были действительно старыми камнями. Ветер выветрил их. Он проникал в стены по тысячам невидимых каналов и звенел негромко и бесстрастно. Это была

музыка развалин, и прислушиваясь к ней, Анна перестала слышать шум насосов, работавших за стеной, и долго стояла не двигаясь, прислонясь к стене.

Неожиданно шорох привел ее в себя. Она подняла голову. Чья-то рука протянулась из-за столба и бросила окуроч, который ударился о стену и упал в плевательницу. Анна была не одна в храме. На жертвеннике в тени столбов сидел мальчик, черноволосый и загорелый, и удивленно разглядывал ее.

Он пришел в храм из-за отрады, от нефтяных насосов. Платье и руки у него были запачканы. Он сидел, свесив ноги и наклонившись вперед, чтобы лучше следить за Анной. Он дружелюбно улыбнулся ей и подвинулся на жертвеннике, чтобы очистить для нее место, но она посмотрела на него опасливо. Ей пришло в голову, что он еще настолько дик, что не имеет понятия о божестве. Иначе: почему бы он сидел на жертвеннике?

В школе, где училась Анна, кроме христианского катехизиса, преподавалась сравнительная история религий. Эта наука учила, что на заре истории была темная эпоха, когда даже самое грубое представление о божестве еще не появлялось в сознании людей. Следующая эпоха была не такой темной. Люди признали богов, но каждый создавал их сам для себя и поклонники одного божества считали нужным смеяться над чужими богами и грязнить их алтари.

Мальчик, сидевший на жертвеннике, принадлежал к одной из этих эпох. С ним надо было говорить на его собственном языке, простыми словами, вроде тех, из которых был составлен плакат на стене. Анна захотела прочесть плакат, однако запас фраз, сообщавшийся в путеводителе, был для этого недостаточным.

Ей помог тот самый дикий мальчик, ради которого она старалась. Он бегло перевел для нее содержание плаката на смесь европейских языков.

— Не трудись читать, — сказал он, улыбаясь Анне. — Ничего интересного. Разные правила насчет окуроч и плевательниц. Воспрещается пачкать стены. Не разрешается играть в карты. Последний пункт: «Воспрещается сидеть на

жертвенниках». Но он не соблюдается, потому что кроме жертвенника тут не на чем сидеть.

Мальчик оказался не совсем диким. Он знал европейские языки и должен был знать, что означает слово — бог. Он не плевал на пол и не бросал окурков. Анна была этому свидетельницей. Он не грязнил алтарей. Но он сидел на них. К какой же эпохе из истории религий его следовало отнести?

— Здесь люди молились богу, — сказала она ему с упреком, — а ты сидишь на жертвеннике, точно это тумба у ворот. Бог есть бог всюду, где бы ему ни поклоняться...

В школе, где поддерживалось благочестие, она была к нему равнодушна, хоть и не отрицала его целиком. Молитвенник был для нее первой вещью, которая выбрасывалась из чемодана, если требовалось очистить место для чего-нибудь другого. Но лишь только при ней была задета традиция внешнего уважения к святыне, у ней явились и красноречие и пыл и готовность отстаивать то, что она сама считала сомнительным.

Мальчик слушал ее с любопытством. Потом на его лице появилось недоумение, а еще позже Анна заметила, что дикий мальчик имеет наглость смотреть на нее с неловкой, чуть брезгливой снисходительностью, точно вдруг под ее нарядной внешностью он разглядел какой-нибудь дефект — грязь в ушах или нечистое белье — и старается не показать, что заметил это. Под его взглядом у Анны явилось желание проверить свои уши и белье. Она сбилась с тона и замолчала.

— Милая девочка, — сказал ей мальчик, — ты понапрасну стараешься. У нас не Центральная Африка. Там тебя может быть станут слушать. Туда и отправляйся. Вместо этого ты являешься к нам и распускаешь слюни, оттого что кто-то сидит на чьем-то жертвеннике. Что в этом плохого? Три чудака сто лет тому назад жгли на этом месте огонь, а поэтому мы теперь должны ходить тут на цыпочках и говорить топотом! Бели около каждого разрушенного алтаря ты будешь плакать, то в нашей стране у тебя не хватит слез...

В голосе мальчика Анна уловила злость. С ее точки зрения злость была плохим качеством, но от нее у мальчика блестели глаза и выпрямлялась осанка. Она думала о его месте в учебнике истории религий. Оно было не в начале учебника и не в конце его, оно было после самой последней его страницы. Он не умещался в учебник. И от этого он неожиданно вырос в ее глазах, потому что шагнул дальше всех.

Мальчик посмотрел на часы.

— У меня есть двадцать свободных минут. Давай поговорим. Я — Тарт, из школы механиков. Мне пятнадцать лет. А кто ты? Имя, возраст, национальность? Отвечай коротко.

— Я Анна Даррель, тринадцати лет, англичанка.

— Откуда? Где учишься? Кто отец? Его социальное положение?

Анна ответила и на эти вопросы, и уж потом спохватилась, что ведет себя как девчонка, позволяя первому встречному выпытывать себя.

— Это допрос? — спросила она строптиво.

— Это здешний способ разговора, — ответил Тарт. — Анкетный метод. Он ускоряет дело.

Втайне он был озадачен. Анна была моложе его, но во многих вещах знала больше чем он. Он с удивлением разглядывал странное существо, прилетевшее из-за тысячи верст. Это существо было хорошо развито физически, знало математику и музыку, легко объяснялось на разных языках, свободно чувствовало себя в воздухе и под водой, в нем почти ничего не осталось от беспомощности первобытного человека, — и все-таки от него можно было ждать, что оно вдруг станет на колени и начнет славить бога!

— Твой отец — химик? — спросил он.

— Мой отец знаменитый химик, — поправила его Анна. — В культурных странах достаточно назвать его имя.

— Я его видел, — сказал Тарт. — Это тот чудак, который ковыряется у нас в пустых скважинах. Они ему нужны для каких-то опытов. Для кого он работает?

— Для человечества ... — ответила Анна с важностью.

— Я хочу сказать: от кого он получает деньги?

— Какое значение имеет, от кого он получает деньги?

Он культурный человек и работает для бога культуры.

Тарт махнул рукой.

— С его культурой не чисто. Хорош культурный человек, который до сих пор не догадался объяснить своей дочери, что никаких богов нет. И его дочь является к нам и устраивает сцены из-за старых жертвенников. Ты вела себя как дефективная. На тебя было жалко смотреть.

— Мой отец не мешается в мои дела.

— А должен был вмешаться. Почему он заставляет тебя делать то, чего не делает сам? Спроси его об этом напрямик, и ты увидишь, что он сразу покажется тебе не таким умным...

Когда двадцать минут кончились, Тарт слез с жертвенника и пошел к стене. Но прежде чем исчезнуть по другую ее сторону, он повернулся к Анне:

— Завтра я буду тут в это же время. Приходи и ты. Придешь?

Подождал ответа, не дождался, спрыгнул вниз.

Анна осталась у жертвенника одна. Перед ней были те же камни, обожженные древним огнем, но она не смотрела на них. Полчаса назад, когда она стояла у стены и была под обаянием ветра в развалинах, это место представлялось ей необыкновенным. Она видела на жертвеннике вечный огонь, воображала людей, протягивавших к нему руки.

Эта картина изменилась. Вечный огонь казался обыкновенным огнем, который можно было зажечь и потушить. На лицах людей она заметила тупость, которой не видела раньше, и сама она показалась себе неискренней, тщетно раздувающей маленький огонек.

Старые камни раздражали ее. Она потратила на них чувство, которого теперь стыдилась. И неожиданно, словно на зло камням, она подошла к жертвеннику, поднялась на руках, села наверх и огляделась.

Она испытала волнение и неловкость. Мальчик чувствовал себя здесь свободнее. Он сидел и болтал ногами, и у

него и в мыслях не было, что он кого-либо этим оскорбляет. Мальчик — спорная фигура. Он напрасно берет командирский тон. Его еще надо будет поставить на место. Но в одном пункте он действительно прав: никакого бога на свете нет.

Она ощутила эту мысль спокойно, как ясный факт. В тринадцать лет эти вопросы легко решаются под честное слово товарища.

Вечером Анна завела с отцом откровенный разговор, и действительно, химик Даррель, припертый к стене, был смущен.

— Твой мальчик не совсем неправ, — уклончиво сказал он. — Я до сих пор ничего тебе не говорил. Я ждал, когда это тебе самой станет понятно. Действительно, у очень многих людей существуют довольно веские возражения против веры в бога...

— Мне не надо рассказывать особенно много, — прервала его Анна. — Ответь мне на один вопрос: ты сам веришь в бога?

— Нет... — ответил Даррель.

— Значит, и не о чем говорить.

На другой день она снова была в храме.

— В старой литературе, — сказал Тарт, — я читал о девочках вроде тебя. Они были добрые и за ними ходили ангелы-хранители. Мне казалось, что их больше нет. Я помню рассказ про одну мисс, от которой ее собственный ангел-хранитель ушел, потому что около нее ему не было никакой работы: она и без него не совершала ничего греховного. Не с тобой ли это случилось?

— И о тебе я тоже читала достаточно, — ответила Анна. — Ты, конечно, тот самый маленький и злой фанатик, который из зависти, что другие лучше и богаче его, хочет перестрелять весь свет...

Оба взглянули друг на друга и засмеялись, ибо каждый выглядел лучше своего литературного трафарета.

— Если б за тебя взялся как следует, — сказал Тарт с уклончивым одобрением, — из тебя мог бы выйти толк.

— Если б тебя вымыть, причесать и подержать среди культурных людей, — ответила Анна, — тебя, пожалуй, можно было бы терпеть...

3. ИГРА В ГОРОДА

Когда Анне было шесть лет, отец однажды вел ее за руку по улице. Улицы были декорированы по случаю важного политического события. Произносились речи, велась агитация. С аэропланов разбрасывались листки. Даррель смотрел, как кипа листов падала с аэроплана сначала всей массой, затем повисала в воздухе и рассыпалась по ветру сотнями белых птиц.

Даррель был старый человек. В детстве он видел в воздухе больше птиц, чем прокламаций.

— Посмотри, как падают прокламации, — оказал он дочери. — Совершенно как стая белых голубей, когда они их бросают с аэроплана в солнечный день...

Они пошли дальше, сели в поезд и очутились за городом. На лугу стая белых голубей взлетела в воздух и рассыпалась в стороны.

— Посмотри на птиц, папа, — сказала Анна. — Как красиво они летают. Совершенно как прокламации, когда их бросают с аэроплана в солнечный день...

Когда ей было восемь лет, отец взял ее с собой в путешествие. Они вместе облетели свет по запутанным и малоизвестным маршрутам. Даррель редко останавливался в больших городах. Обычно ему требовалось слезать в таких местах, где никто кроме него с дочерью не высаживался. Он охотился за танарием. Этот металл попадался редко и в ничтожных количествах. После обработки Даррель добывал из него крупички гелидия, и иногда вся добыча путешествия сводилась у него к нескольким зернам гелидия, которые умещались в глубине его жилетного кармана. Для работы ему требовались несколько тысяч таких зерен, и оттого он нигде не засиживался долго, и его пути всегда лежали в стороне от больших дорог.

В Атлантическом океане, в том месте, где Гольфштром делает излучину в сторону Европы, они останавливались

на устроенной посреди океана станции смотреть, как идет работа по отводу теплого течения в направлении к Бискайскому заливу и вдоль европейского материка. Давно задуманный план, который должен был изменить климат на всем европейском материке, приводился в исполнение. Этот план был рассчитан на долгий срок и требовал огромных количеств камня, подвозившегося на воздушных судах со всех концов мира. Война и изоляция Старого Света впоследствии помешали его исполнению.

Даррель и его дочь залетали также далеко вглубь Азии, наблюдая работы по прокладке всемирного центрального канала, который должен был прорезать Старый Свет во всю длину от океана до океана и заменить природные реки, не справлявшиеся с транспортом. У Дарреля был особый интерес к вновь прокладываемым каналам, ибо при работе пласты земли обнажались на значительную глубину, и это облегчало ему поиски танария.

Необыкновенные страны и явления открывались Анне во время путешествия, и она смотрела на них с спокойствием людей нового поколения. Люди в прошлом чаще удивлялись, чем люди второй половины двадцатого века. Ее отец рассказывал ей, что в детстве однажды он пережил сильное изумление при известии, что некий Блерио перелетел Ламанш. «Но, — прибавлял он потом, — я не помню, чтоб я удивлялся чему-нибудь еще с тех пор»...

Игру в горда можно было вести, находясь в разных концах света. Существовал список городов мира, и каждый участник игры вычеркивал из своего списка города, которые он посетил. Благодаря путешествиям с отцом, у Анны был большой запас городов.

Она принадлежала к поколению, которое не умело шептаться по углам. Звук и свет облетали землю. Расстояние не мешало людям видеть и слышать друг друга, и иногда, благодаря неправильно взятой волне, человек попадал не в ту часть света с такой же легкостью, с какой в былое время он ошибался дверью в коридоре гостиницы.

Первой партнершей Анны в этой игре была Гверра, девочка из Америки, одних с нею лет. Случайная порча ра-

диоаппарата свела их.

Однажды Анна настраивала аппарат, чтобы издали прослушать уроки в своей школе. Аппарат дал осечку, и вместо учителя на экране появилась незнакомая девочка с темным цыганским профилем.

У девочки были грубоватые руки, стандартное платье, подкрашенное лицо. Она стояла одетая к выходу, с свертком в руках. Разговор с Анной задерживал ее.

Она назвала город, в котором она находилась, — маленький город с латинским названием в Средней Америке, — и длину своей волны, чтобы Анна могла высчитать величину ошибки. Это была обычная любезность при неправильных соединениях, после чего оставалось потушить экран и забыть друг о друге. Но девочка, кончив разговор, продолжала стоять у аппарата, разглядывая Анну. Неожиданно она улыбнулась, и Анна увидела, что грим был совершенно не нужен ей и только портил ее темный свежий румянец.

— Я задумала одну вещь, — сказала девочка выжидательно. — Но я еще не знаю, делать мне ее или нет. Будьте моей судьбой. Скажите: да или нет?

Она ожидала ответа с волнением, точно и в самом деле слова, сказанные наобум девочкой из-за океана, должны были решить ее судьбу. Анна ответила: да, — и этот ответ обрадовал ее.

— Я хочу бежать из дому, — сказала она потом. — Я буду путешествовать. У меня все готово.

Сверток в ее руках составлял ее багаж. Кроме того в кармане у нее лежала карта мира, — оба полушария на листке бумаги, — и несколько ассигнаций, взятых из материнского комода.

— В этом доме даже нечего украсть, — сказала она с юмором, который Анне показался жестким. — Но это ничего не значит. Можно путешествовать и без денег.

Анна не стала ее отговаривать. Отвага смуглой девочки казалась ей несерьезной и в то же время внушала ей зависть. Прощаясь, обе девочки условились не терять друг друга из виду.

Впоследствии Гверра не раз появлялась на экране Анны. Карта полушарий истлела во время ее скитаний. Ее сменила другая карта, побольше, и печатный список городов мира. Другой экземпляр списка был у Анны. По этим спискам девочки стали играть в города.

В Европе и Азии у Анны были преимущества, но Гверра забивала ее числом американских городов. Полиция, преследовавшая ее за бродяжничество, заботилась о том, чтобы названий у ней было больше. Ее спутником был Диркс, юноша, также имевший основания нигде не задерживаться подолгу.

В их географии большую роль играла спичка. Она служила им единицей длины. Города, до которых спичка укладывалась раз или два, оставались ими без внимания. Спичка была приспособлена для больших расстояний. Она шла через всю карту на другой конец материка, к городу, где железная дорога обрывалась и откуда начинались пункты океанских рейсов, водорослями уходившие в океан. Это был предельный пункт, и именно поэтому спичка выбирала его.

В действительности спичка редко попадала туда, куда хотела. Обстоятельства были против нее. Холод, полиция, неудачи сокращали ее размах, случайные встречи давали ей другое направление. Некоторые города были для нее заколдованными. Существовал город Барраган, портовой город на Тихом океане, куда Гверра и Диркс пускались не раз, но никак не могли доехать.

Этот город привлекал их, и когда, после вынужденной остановки в больнице или труддоме, они снова расстилали карту, выбирая направление для спички, они прежде всего смотрели в сторону Баррагана.

— Поедем в Барраган, — говорила Гверра. — Мы не были в Баррагане...

Диркс не возражал. Он был старше Гверры, но шел у ней на поводу. Он замечал только, что Гверра делалась мечтательной и нежной, когда говорила о городах, что в эти моменты в ней появлялась ласковость, которой у ней не хватало для людей, в том числе для него самого.

Третьим участником игры был Эгон Шардаль, сын архитектора из Берлина. Анна познакомилась с ним на купаньях, вытащив его из воды, когда он стал тонуть. Впоследствии ей было интересно следить за ним. Это был человек, спасенный ею от смерти, и вся его дальнейшая судьба казалась ей как бы сделанной ею, ибо иначе у него не было бы никакой судьбы. Между тем Эгон очень скоро забыл об этой услуге, но хорошо запомнил красивое лицо своей спасительницы.

Эгон имел возможность путешествовать и при желании мог нагнать любое количество городов. В его географии спичка не имела значения. На нее не имели влияния холм или полиция, которая во всем мире была любезна с Эгоном. Он копил города, глядя на них из окна вагона.

Его география не совпадала с географией Гверры и Диркса. Не совпадала и с географией Анны. Был город в Кордильерах, который каждый из них мог вычеркнуть в своем списке, и каждый дал ему различную характеристику.

— В этом городе находится самый большой телескоп в мире, — отметила Анна.

— Поганая дыра, — сказала Гверра. — Все жители в ней члены союза по борьбе с нищенством. Они платят налог и прибывают к дверям квитанции.

— Самого большого телескопа я там не видел, — сказал Эгон. — Но самая некрасивая женщина, какую я когда-либо встречал, действительно живет там и служит в буфете на вокзале.

Эгон вычеркнул у себя и Барраган, куда не удалось попасть Гверре и Дирксу. Он отметил его как третьестепенный порт, зараженный малярией, с несколькими тысячами жителей, оглохших от хины.

Эгон играл в города без страсти. Города были для него предлогом, чтобы чаще говорить с Анной. Он путешествовал, но конец путешествия неизменно приводил его в Лондон, в комнату Анны.

В доме, где жила Анна, в нескольких этажах помещалась школа. На лестницах Эгон встречал внимательных насмешливых молодых людей. От них на стенах оставались

надписи карандашей, карикатуры, знаменитые истины из учебников, поразившие их воображение.

«Жизнь есть процесс горения!» — читал Эгон, поднимаясь по лестнице. — «Дай мне точку опоры, и я переверну мир»...

Среди карикатур на незнакомых людей он находил фигуру, в которой узнавал Анну. Она была изображена в спортивном костюме, с преувеличенной мускулатурой.

А еще выше он видел рисунок, показывавший, что и его посещения также не остались незамеченными. Это был он сам: тонкий и щеголеватый, оглядывающийся, готовый бежать. Подпись: «немец» — не оставляла сомнений, что это был он.

Наверху он стучал в дверь условным стуком. Это была его привилегия. Никто другой не входил сюда таким образом. Он знал это, но это не удовлетворяло его. Он думал о том, как встретит его Анна.

— Это вы, Эгон? — дружелюбно говорила Анна, впуская его. — Вы приехали? Зачем вы приехали?

Эгон вслушивался в ее голос. Если б он уловил в нем хоть немного волнения, он счел бы себя удовлетворенным.

Но волнения не было. Он поникал, скрывая обиду.

Ему было семнадцать лет, и от любви он требовал справедливости. «Я люблю, — рассуждал он, — отчего же не любят меня?». В семнадцать лет он не мог понять, отчего это происходит.

Он усаживался около Анны и старался быть интересным, но обида не проходила. Он хотел уверить себя, что никакой обиды нет, что Анна ему не нужна. Он разглядывал ее руки, лежавшие на столе, и находил, что это были самые обыкновенные девичьи руки. Грубая кожа на локтях вызывала в нем злорадство. Плечи были выпуклые, набитые мясом.

«Она вульгарна», — думал он.

Он сам с удивлением спрашивал себя:

— Почему я люблю ее?

Но если Анна выходила из комнаты, оставляя его одного, он пользовался случаем, чтобы поцеловать подушку на

ее кровати, погладить рукой ее книги.

Однажды, когда он пришел к Анне, ее вызвали к радио-аппарату. На экране он увидел смуглого юношу тех же лет, что и он, но другого расового типа. Судя по одежде, он не был джентльменом. И однако, в приветственных словах, с которыми обратилась к нему Анна, он услышал ту радость, которой он тщетно ждал от нее при- встречах с ним самим.

Он не стал слушать, о чем они говорили. Он ушел в другую комнату. Он не знал до тех пор, что существовал соперник, более счастливый чем он, и это открытие было для него тягостно.

4. ТРИ РАЗРЫВА

Смуглый юноша был частым собеседником Анны. Их влекло друг к другу, и они понимали это. Насмешливый тон их первой встречи сохранился в их отношениях, но гораздо чаще они были друг с другом ласковы.

Они были взрослыми людьми, когда их беседы оборвались. В этот день Тарт появился на экране в необычное время. Он убеждал Анну бросить Лондон и лететь к нему.

— Нам надо быть вместе, — говорил он. — Впереди война. Мы можем никогда больше не встретиться.

Анну останавливала мысль об отце.

— Он очень постарел. Я не могу бросить его.

— Нельзя ставить свою судьбу в зависимость от того, что кто-то постарел, — ответил Тарт. — В дальнейшем он будет только стареть.

Магнус Даррель, которого он видел несколько лет назад во время его приезда на Каспий, не вызывал в нем симпатий. Он угадывал в нем фальшь, несоответствие между шкурой и мыслями. Еще меньше он стал нравиться ему, когда из-за него нарушились его планы.

— Поймите меня, — настаивал он: — впереди война. Я не начал бы этого разговора, если б не знал, что она близка. Решайте сегодня, потому что завтра будет поздно.

Он продолжал говорить, и неожиданно Анна заметила, что его образ на экране искажается, линии его лица сбегаются и разбегаются, как на воде во время зыби, а его голос делается пискливым и пронзительным. Глядя на его гримасы, ей захотелось смеяться.

— Что с вами, Тарт? — крикнула она. — На вас нельзя смотреть без смеха ...

В последний момент она увидела его настоящее лицо, но на нем сквозь досаду пробивалась улыбка. Это значило, что и ее лицо на его экране также было сплюснутым и искаженным и Тарт, глядя на нее, также не мог удержаться от смеха.

В следующий момент экран погас. Вой и скрип вырвались из аппарата, нудный скрип, который было противно слушать. Анна подождала, снова подошла к аппарату. Вой и скрип продолжались.

Много позже аппарат заговорил человеческим голосом. Голос кричал:

— Война началась. Во избежание пропаганды, идущей из враждебного нам государства, а также шпионажа в его пользу, нами пущены в ход глушители радиоволн. Всякая связь с враждебной стороной прерывается. Ни один призыв, ни одна клевета, ни одна мольба не будут выпущены из пределов этого государства, также как ни одно слово с нашей стороны не дойдет до него...

С тех пор трубка или молчала или на попытку вызвать Тарта отвечала воем и хрипом. Тарт был обведен чертой.

Через несколько дней исчез и Эгон. Его вызвали на родину, где также происходила борьба. Ему предстояло принять в ней участие на стороне реакции. Перед отъездом он пришел к Анне попрощаться.

Его отношения к ней были неопределенными. Он сам не понимал их. Он стал взрослым. Он гораздо реже удивлялся, что она смеет его не любить. С ним бывали периоды, когда ему удавалось убедить себя, что она ему совсем не нужна, что он не любит ее, забыл о ней. Ему казалось, что, прощаясь с ней перед отъездом, он выполняет долг вежливости.

Когда он подымался по лестнице, старые изречения о точке опоры и о процессе горения попались ему на глаза. Надписи держались годами. Он привык видеть их на своих местах. Он покосился на то место, где был он сам, и увидел, что под рисунком была новая подпись. Кто-то посвятил ему стихотворение из восьми строк, но зачеркнул все строки, кроме первых двух. Он прочел:

В этой поэме героя мне жалко:
Он был ревнив, она — зубоскалка...

Какие-то люди интересовались его делами. Какие-нибудь неизвестные ему соперники из школьной молодежи. Они были ему безразличны. Он подумал только, что ему напрасно приписывают ревность: он не был ревнив. Он не стал стирать надписи, чтобы авторы не подумали, будто она его задела.

— Это вы, Эгон? — встретила его Анна. — Вы приехали? Зачем вы приехали?

В ее голосе, как и прежде, он не услышал радости, и обида, которую он испытывал, показала ему, что он напрасно уверял себя, будто Анна ему не нужна. Люди, посвятившие ему стихи, знали его историю лучше, чем он сам. Сидя около Анны, он думал, что он даром потратил на нее годы и что в день отъезда на войну ему нечем помянуть их.

— Как вы не понимаете, что время идет? — сказал он, подавленный своими мыслями, — что это единственное, чего надо бояться на земле? Как вы не понимаете этого?

Он говорил с раздражением и тоской. Это был несвойственный ему тон. Но он уезжал на войну и хотел договориться до конца.

— Почему вы не любите меня? — спросил он требовательно. — Или я для вас нехорош?

— Вы хороший, — ответила Анна. — Но вы не самый лучший. Есть лучше вас.

— Неправда! — вскричал он, прорываясь злобой. — Я лучше всех! Я самый лучший!

Он спохватился, поняв, что говорит нелепости. Он сейчас же ушел, стыдясь своих слов, но мысль о людях, которые были лучше его, не оставляла его. Он знал, о ком идет речь. Он знал даже, как выглядит этот лучший человек, и когда он вызвал в памяти его образ, злоба и подавленность снова охватили его.

Неожиданно скрипящий звук, резкий и противный, привлек его внимание. Он прислушался. Звук раздавался близко. Но он не сразу понял, откуда он идет, потому что в первый раз в жизни с ним случилось, что он скрежетал зубами.

Из старых друзей только Гверра иногда давала о себе знать. Она жила вдали от войны, и пока Америка не огордила себя сторожевой линией, могла появляться на экране Анны. В судьбе Гверры произошла перемена. У ней появилась оседлость. Она была хорошо одета. Диркса не было около нее. Он сидел в тюрьме.

— За что? — спросила Анна.

— За то, что он приписал слишком много нолей справа от единицы, — ответила Гверра.

Она рассказала, как это случилось. Она не пожалела себя, разоблачив способ, каким они с Дирксом добывали деньги. Они грабили богатых пожилых мужчин. Гверра заманивала их в труппу, Диркс огребал их и выбрасывал вон. Они не смели жаловаться, чтобы не компрометировать себя.

— Они заслуживали своей участи, — сказала она с убеждением. — Они шипели и злились, когда Диркс внушал им, что мы поступаем правильно, если грабим их за попытку купить любовь. Их было легче грабить, чем целовать. Только один старик согласился с Дирксом и признал грабеж правильным. Но именно на нем мы поскользнулись, потому что Диркс пожадничал, когда получал деньги по его чековой книжке, и вместо трех нолей написал шесть. Его арестовали в кассе. И хотя он говорил, что нашел чеки на улице, и старик также молчал про грабеж, ему дали одиннадцать месяцев.

— Старик не стал мстить, — сказала Анна. — Это значит, что Диркс действительно сумел убедить его.

— Он не стал мстить, потому что иначе ему пришлось бы рассказать, где и как он был ограблен, — поправила Гверра. — Он мне понравился в первый момент. Он с такой искренностью сказал: «Так мне и надо! Я, старый дурак, позволил себе вообразить»... Но на суде, когда Диркса уведли, он заговорил со мной иначе. Я ему нравлюсь. Он ищет меня, хоть и говорит, что ничего от меня не ждет...

Американская блокада помешала Анне узнать, чем кончилась история Гверры.

5. В СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ

Даррель не вернулся в Клифтон. Анна напрасно ждала его. Вместо него, через много дней, пришел номер местной газеты с извещением о падении в океан аэроплана 66K215, принадлежавшего Даррелю. Сообщалось, что аппарат летел в направлении на Ньюфаундленд, был трижды опрошен патрулем заградительной линии, не дал ответа и был сбит в воду. Пилот и аэроплан погибли в волнах.

Смерть Дарреля отмечалась в газете лишь как факт хроники происшествий. Никто не вспомнил по этому случаю, что он был человек науки и за ним числились изобретения. Магнус Даррель задолго до смерти был забыт в науке.

Анну удивило, что ее отец погиб на пути в Америку, куда он не собирался лететь. Он должен был знать, что на пути его встретит заградительный отряд. Он был осторожен. Анна помнила случай из детских лет, когда они с отцом перелетали во внутренней Азии чью-то неписанную границу и также попали под артиллерийский обстрел. Они ушли тогда невредимыми, но Анна видела, что отец был серьезно обеспокоен.

— Ты боишься? — спросила она его.

— Боюсь, — признался Даррель. — И за тебя, и за себя.

— Значит, ты трус?

— Я не трус, — ответил Даррель, добросовестно подумав, — но я не могу умереть раньше времени. Я еще должен жить.

О чем он думал, когда летел на верную смерть под пули заградительной линии? Не значило ли это, что ему уже незачем было беречь себя, что он считал свою жизнь конченной.

В номере газеты, извещавшем о его смерти, на другой странице было еще одно сообщение с океана: о странном явлении на океане — об огромном столбе воды, движущемся в направлении на Америку.

Анна читала и эти строки, но ей никогда не приходило в голову, что между этими двумя сообщениями есть какая-нибудь связь.

Лист блокнота с цифрами полки и ящика, последний исписанный Даррелем лист, лежал на столе с самого вер-ху, и Анна, прибирая кабинет отца перед тем, как запереть его на замок, постаралась оставить бумаги на тех самых ме-стах, куда их положил отец.

Работа ее отца была ей непонятна, но в детстве она пи-тала к ней больше почтения. Когда-то, когда она была ма-ленькой девочкой, она спросила отца: зачем ему нужен танарий, и он, приноравливаясь к ее детскому пониманию, рассказал ей сказку о маленьком камешке, который ему надо найти, чтобы стать обладателем неисчерпаемой силы. Этот камешек в его руках должен был осчастливить чело-вечество. Впоследствии, из учебника химии, она узнала, как много людей сложили головы в погоне за разными хи-мерическими камешками, и ей стало казаться, что ее отец также принадлежит к этим обреченным людям. Отец, замк-нутый и редко бывавший дома, жил особенной жизнью, и Анна не делала попыток проникнуть в нее.

Они снова сблизились во время войны, но это уже была близость людей, вместе переживающих голод и подзем-ную жизнь. Даррель в это время был капризным стариком, желавшим продолжать работу во что бы то ни стало и тре-бовавшим от Анны пищи и ухода. Анне было с ним много хлопот.

Он удивлял Анну еще тем, что в это время впервые в жизни стал интересоваться общественными делами. До тех пор он считал, что это чужая сфера, специальность других людей, которые обойдутся и без него, и в пятьдесят шесть лет, очутившись в захватывающей и меняющейся обста-новке, представлял собой пример неподготовленности и поз-днего усвоения социальных доктрин.

Он начал с шовинизма, поддавшись газетным призы-вам, и на улицах с светлой улыбкой провожал на фронт пра-вительственные войска. Люди в толпе говорили о враге, которого надо сокрушить, и он сочувственно слушал их. Он

сам думал так же. Разница была та, что его собеседники, окончив говорить, мирно расходились по домам, а он при этом думал о нескольких килограммах гелидия, которые он успел накопить и которые можно было пустить по любой линии.

Был случай, когда он уже оделся, чтобы идти в военное министерство и предложить свои услуги.

— Это мой долг, — говорил он. — Я сын своей страны. И если на нас напали, я не могу оставаться в стороне.

Анна с сожалением наблюдала его. Он стал комическим персонажем с тех пор, как ударился в политику.

— Едва ли они нуждаются в тебе, — сказала Анна. — Там достаточно химиков. Ты будешь забавно выглядеть в военном мундире. Тебе дадут банку консервов, которая уже тридцать лет ждала на складе, чтобы кто-нибудь напал на нашу страну, и жетон с надписью: «На нападающего бог!», выбитый за десять лет до нападения.

Перманентная бомба Родена, впервые в это время пущенная в ход, отвлекла его мысли в другую сторону. Ее жертвой был Дублин. Даррель полетел туда. Маленькие выбоины на мостовых, первоначально сделанные бомбами, к тому времени превратились в зеленое озеро, захватившее весь город.

Кипящие точки в разных концах озера обозначали места падения бомб. От них по воде расходились круги. Каждая точка давала несколько сот кругов в минуту, которые, расширяясь и достигая берега, взрывались сразу по всей окружности, обрушивая здания, подтачивая сушу. Площадь озера стремительно росла. Газеты, сообщая о быстроте действия этих бомб, писали: «Впервые в истории крысы не успели убежать» ...

Однако действие бомб было рассчитано лишь на определенный срок. Вместе с расширением площади разрушения удары слабели и замедлялись. Когда бомбы исчерпали себя, Даррель вернулся домой. Он подсчитал количество бомб и время их действия и сказал, что перманентная бомба Родена не представляет собой ничего особенного, что она временное явление и разделит судьбу всего, что было

изобретено до нее.

— В конце концов, — говорил он, — это старая сказка о камне, молотке, огне и воде. «Я тверже всех, — сказал камень. Но пришел молоток и разбил камень. Пришел огонь и расплавил металл. Пришла вода и залила огонь. Пришло солнце и высушило воду».

Анна обратила его внимание на другую сторону дела, которую он, занимаясь химическими наблюдениями, упустил из виду: бомбы были сброшены в Дублин собственным правительством в наказание за то, что город восстал против него и отказался вести войну. Она назвала ему еще несколько городов внутри Англии, которые были разрушены по этой же причине. Она сказала ему, что та же участь ждет впоследствии и Лондон, если он станет центром революционных сил. Правительство не задумается уничтожить его, чтобы не оставлять в тылу у себя организованного центра.

Даррель принял ее слова к сведению. Энтузиазм по отношению к правительству у него давно пропал. Он забыл, что еще недавно хотел помогать ему.

Он пережил восстание в Лондоне и перемену власти. Он легко осилил лозунг: «Война дворцам, мир хижинам»! Он нашел его совершенно правильным. Впервые он дал себе отчет в том, что он — пролетарий. В день отмены привилегий он ходил по улицам и с теплым чувством провожал красные войска на фронт, который начинался в предместьях.

Первая бомба, сброшенная в Лондон правительственным летчиком, была им воспринята как гнусная несправедливость. Какой-то человек, наблюдавший вместе с ним падение дома, сказал ему:

— За это преступление они еще ответят...

Даррель сочувственно кивнул головой. Он думал так же. Разница была та, что его собеседник имел в виду отдаленную месть от руки потомков, а Даррель снова вспомнил о нескольких килограммах гелидия, которые можно было пустить и по этой линии.

Лондон оказался слишком большим городом, чтобы его можно было разрушить целиком. Бомбардировка оставила

на его карте заштрихованные ядовитые места, разбросанные беспорядочно, как ржавые пятна на металлической пластинке, на которую брызнули кислотой.

Население уплотнилось в уцелевших кварталах. Голод и ядовитые испарения гнали его вон из города. Отрава, подымавшаяся с озер, проникала в дома с ветром, с водой, с пищей, добытой из зараженных кварталов. В брошенных жилищах накапливались трупы. Туннели подземной дороги сохранились, позволяя проникать из района в район. Если на какой-нибудь станции долго не показывались пассажиры, ожидающие поезда, это значило, что их не будет и впредь и наверху остались лишь развалины и зеленая вода. В следующий раз поезд проходил мимо станции не останавливаясь.

Даррель отыскал для лаборатории подходящий подвал. У него явилась охота работать. Он торопился, боясь за свою жизнь. Когда-то, попав с аэропланом под обстрел, он сказал Анне, что не имеет права умереть раньше времени. Тогда в его словах были достоинство и добросовестное раздумье.

Сейчас, увидев свою жизнь в опасности, он без всякого достоинства лазил в выгребные люки, если слышал вблизи шум обвала и, ложась спать, заставлял Анну дежурить, чтобы разбудить его при первой тревоге.

В его лаборатории появился новый предмет: металлический остов колеса, постепенно заполняемый серым составом, похожим на цемент. Его работа сосредоточилась около этого колеса. Ради него он забросил все предыдущие опыты. Это колесо он прятал в особый футляр и брал с собой, когда лазил в люки во время тревоги.

Он честно работал и, выходя в коридор покурить, отмеривал себе время по часам. Проголодавшись, он требовал пищи. Анна следила за тем, чтобы он чаще мылся и менял белье, и была довольна, что он занялся делом.

Постепенно зона разрушения стабилизировалась. Стало известно, что запас перманентных бомб, отпущенный Роденом реакции, кончился. Оказалось, что этот ученый работал на обе стороны и в начале войны снабдил и белых и

красных одинаковым количеством бомб. Он назвал это соблюдением нейтралитета. Разница получалась та, что красные избегали разрушать города, считая их население своими союзниками, в то время как белые не имели оснований щадить их. Роден, если б даже и хотел, ничем уже не мог бы помочь реакции, ибо его берлинская лаборатория, также как и он сам, находилась в руках красных.

Самая главная беда миновала город. Оставался артиллерийский обстрел, который по сравнению с бомбами Родена казался безобидной музыкой. Город решил почиститься. Однажды в подвал к Даррелю заглянул инспектор квартала.

— Все на уборку трупов! — крикнул он, открыв дверь. — Выходите все, кто есть...

Анны не было дома. Даррель, занятый работой, не отозвался. Инспектор прошел внутрь комнаты и увидел высокого запущенного старика, который при тусклом свете трудился около серого предмета, похожего на точильный камень. Он тронул старика за рукав.

— Идемте, гражданин. Нас ждут...

Старик повел себя странно. Он вздрогнул, быстро вернулся к инспектору и прежде всего заслонил собой серый предмет. Лицо у него было яростное и испуганное. Он хотел говорить, но не находил слов. Он вел себя как клептоман, схваченный за руку. И также как пойманный клептоман, он скоро протрезвел.

— Успокойтесь! — сказал инспектор. — Ваше точило останется при вас. Никто его не тронет.

Инспектор был озадачен. Гражданин имел странный вид. Однако руки и ноги у него были в порядке. Он годился для того, чтобы вместе с другими обойти этажи и вытащить мертвечину.

Когда Даррель понял, чего от него требуют, он покачал головой и отказался идти куда бы то ни было.

— Мое время дорого, — сказал он с простотой, которая инспектору показалась забавной. — Вам придется обойтись без меня.

И так как инспектор заметил ему, что отлынивать от общей работы непохвально, он рассердился.

— Вы сами не догадываетесь, чего вы от меня требуете. Я не могу уйти отсюда. Через восемнадцать минут мне надо будет повернуть колесо на один градус против теперешнего положения. Нижний сегмент, который у меня сейчас погружен в закрепитель, выйдет наружу для просушки. Если я этого не сделаю и сегмент пробудет в ванне дольше чем надо, произойдут события чрезвычайно неприятные.

Инспектор ткнул пальцем в серый предмет. На ребре от его ногтя осталась царапина. Вещество предмета было мягче, чем у точильного камня, но в остальном предмет ничем не отличался от него. И так же как у точила, нижний его край был погружен в ванну с жидкостью.

— Вы боитесь, что оно взорвется? — спросил инспектор иронически. — Желал бы я посмотреть, как это произойдет.

— Оно взорвется, — подтвердил Даррель с бешенством. — И я не желал бы, чтоб вы видели, как это произойдет. Потому что вам не придется потом никому об этом рассказывать. И вы, и я, и весь город погибнем мгновенно или в ближайшее время. Что касается земного шара в целом, то он треснет после довольно значительного промежутка...

До тех пор Даррель никогда не говорил о своей работе в таком громком тоне, но вид человека, обращавшегося с ним как с мелким саботажником, вывел его из себя.

— Земной шар? — переспросил инспектор, щурясь. — Это вы взяли высокую ноту. Если б вы сказали, что эта штука разнесет подвал или вышибет окна в доме, я бы больше испугался. Должно быть до сих пор вы очень аккуратно поворачивали ваше точило, потому что земной шар цел. До сих пор не слышно, что он где-либо треснул. Мне попадет, если это произойдет как раз в моем квартале...

— Да, я до сих пор очень аккуратно поворачивал его, — ответил Даррель. — О последствиях неаккуратности я могу судить лишь теоретически. Потому что то, что вы называете точилом, есть концентрированная сила, теоретически беспредельная. Мне трудно дать вам понятие о перспекти-

вах, которые открываются перед человечеством благодаря этому точилу. Ближе всего стоит к этому понятие вечного двигателя. Вы что-нибудь слышали о вечном двигателе?

— Слышал, — ответил инспектор и моргнул глазами. — Очень много слышал.

Он стал серьезным. Он был практическим человеком. Вечный двигатель у него был крепко ассоциирован с сумасшедшим домом, и лишь только Даррель заговорил о нем, перед ним сами собой встали некоторые вытекающие отсюда практические вопросы: в каком положении маршрут подземной дороги, связывающий его квартал с Ольборном? В каком положении район Ольборна и в частности тамошний дом для умалишенных? Не пострадал ли он от бомбардировки? Не переполнен ли он?

— Вижу, что вас действительно нельзя отрывать от дела, — сказал он, поворачиваясь к выходу. — Валяйте, граждане. Работайте. Ваш двигатель нам очень пригодится...

И уже у двери, с кривым юмором, прибавил:

— Жаль только, что он — вечный...

Даррель после его ухода оглядел царапину, оставшуюся на колесе. Она была еле заметна и все-таки она привела его в очень подавленное состояние.

— Мне нечем заполнить эту дыру, — бормотал он, сглаживая инструментом царапину. — Недобор вещества остается. Он унес его на ногтях. Полного равновесия не будет. Это значит: перебой в работе, зигзаг в движении...

Через несколько дней еще один человек пришел навестить Дарреля. Он отрекомендовался доктором, показал бумажку от квартального инспектора и спросил:

— Где больной?

Анна ответила, что в этой квартире все здоровы. Он объяснил, что речь идет о человеке шестидесяти лет, утверждающем, что он изобрел вечный двигатель. Анна провела его к отцу.

— В городе происходит перепись оставшегося населения, — сказал он, встретив неласковый взгляд Дарреля. — Ответьте на несколько вопросов: имя? возраст? Профессия? состояние здоровья?

На состоянии здоровья он остановился немного дольше, чем требовалось бы для статистики. Но он объяснил это тем, что имеет отношение к медицине. Потом он бросил взгляд на колесо.

— Говорят, будто вы изобрели вечный двигатель? — спросил он, как бы поздравляя. — Это чрезвычайно любопытно.

Даррель не отрицал факта. Бесплезно было бы отрицать его, после того как он разболтался с инспектором. Но он не стал откровенничать. Человек, который говорил о вечном двигателе в таком же тоне, точно это была пятая задвигка у вентилятора, раздражал его, и так как приближалось время снова поворачивать колесо — он попросил, чтоб ему не мешали работать.

Посетитель не обиделся, протянул на прощанье руку, — не для прощанья, но чтобы пощупать ему пульс, кивнул головой и исчез.

В другой комнате он написал записку:

«Магнус Даррель, 57 лет, химик. Старческая дряхлость. Очевидные нарушения мыслительной деятельности. Навязчивые идеи в устойчивой форме (вечный двигатель и т. п.). Характер тихий, несклонный к буйству. Ввиду преклонного возраста и безвредности для окружающих может быть оставлен дома на попечении родных. В стационарном лечении не нуждается».

— Если вас будут беспокоить, — сказал он, прощаясь и передавая Анне записку, — сошлитесь на этот документ...

Анна спрятала бумажку, чтоб она не попала на глаза отцу. Бумажка производила на нее двойственное впечатление. Упоминание о вечном двигателе делало ее правдоподобной. Ей казалось все-таки, что Магнус Даррель заслуживал более внимательного изучения, чем двадцатиминутный разговор с врачом скорой помощи. И кроме того, думала она, если этот двигатель будет действительно когда-нибудь найден, то человек, нашедший его, несомненно получит от своего районного врача бумажку в этом же роде.

Даррель вскоре перестал работать в лаборатории. Колесо на все триста шестьдесят градусов прошло через закре-

питель. Он покрыл его защитным сплавом и спрятал в футляр, где внутренние рессоры, охватывавшие его со всех сторон, предохраняли его от случайных сотрясений. Последней его работой была сборка небольшого мотора, в кулак величиной, который он приспособил внутрь среднего металлического круга.

Даррель решил покинуть Лондон. Многие из-за голода уезжали из Лондона, и это намерение никого не удивило. Зато никто не был так привередлив в выборе места для переселения. Ему понадобились географические карты, справочники. Анна добыла ему большой глобус из брошенной школы. Даррель проводил около него дни, роясь в справочниках, высчитывая, намечая на его поверхности линии, стирая их. Для переселения он наметил город Клифтон на Ирландском побережье.

Они уехали с удобствами на своем старом аэроплане, для которого инспектор квартала охотно выдал горючее. Он был рад скинуть со счета двух едоков. Багаж их состоял из ящичка с книгами и глобуса, который не влезал в ящик и помещался в кабине, как третий человек. Анна была пилотом. Даррель сидел безучастно, держа на коленях темный металлический футляр.

6. ПУТЬ КОЛЕСА

Первые сведения о колесе пришли с острова Ньюфаундленда. Станным образом, никто не видел колеса в момент выхода его из океана, и в сообщениях говорилось о некоем движущемся теле, по-видимому метеорите, упавшем с неба, пронесшемся через северные области острова в направлении на запад и при полете задевавшим землю. Движение сопровождалось вихрями и гулом. Полоса разрушений, оставшаяся после его прохода, достигала километра в ширину и была сплошной. Скорость движения — не меньше сорока километров в час. Жертвы разрушения — несколько деревень и большая часть города Юнипера, оказавшихся на пути метеора и совершенно уничтоженных. Приблизительное число человеческих жертв — тридцать пять тысяч. В заключение сообщалось, что, пройдя остров, метеор погрузился в воду, где и затонул.

Очень скоро, однако, сведения о том же самом метеорите или о другом ему подобном пришли из Канады. В лесах между берегом и озерами оказалась широкая просека, заваленная деревьями. Полотно линии С.-Джонс — Ванкувер было испорчено во многих местах. Перешеек между озерами, составлявшими систему Виннипег, остался прорытым после прохода метеора, воды озер сошлись в месте прохода и суда могли проходить здесь как по каналу. В сообщении отмечалось обилие дохлой рыбы, всплывшей в южной части озер, где проходил метеор. Линия городов южнее реки св. Лаврентия лежала в стороне от его пути, и число людских жертв было невелико. Однако список лесных участков, поврежденных метеором, а также площадь приведенной в негодность пашни — были огромны. Пройдя страну, метеор затонул в океане.

Дело считалось ликвидированным. Сведущие люди полагали, что, если даже это был тот самый метеор, который перед этим разрушил Юнипер и уже считался однажды погребенным в проливе, то на этот раз можно не опа-

саться его нового появления на материке: от этого спасала глубина и огромность Тихого океана.

Затем сведения о колесе прекратились. Продвижение по дну океана, очень медленное, потребовало многих недель, и этого было достаточно, чтобы люди обратились к другим интересам, а вред, нанесенный метеором, был отчасти восстановлен.

Его движение через Сахалин, через безлюдные пространства Северной Сибири на параллели Албазин-Байкал-Кутулда также не было отмечено большим числом жертв.

Сведения о движущемся по земной поверхности метеоре попадали в газеты всего мира, и уже никем не оспаривалась его тождественность с метеором, разрушившим Канаду. Но явление все еще продолжали считать случайным и называли метеором. Газеты сообщали о нем как о диковине, скорее любопытной, чем способной внушать панику.

Первые серьезные опасения в Европе появились, когда колесо переходило Уральский хребет. Странному метеору была объявлена борьба. На подступы к востоку от Перми была подвезена тяжелая артиллерия, предназначенная для встречного механического удара. Батареи должны были расстрелять колесо. Они выпустили по колесу одновременно горы металла, но не смогли остановить его. Колесо прошло дальше, смяв батареи, попавшие в зону разрушения.

При этом впервые обнаружилось одно странное свойство метеора: оказалось, что его скорость после испытанного им лобового удара не только не уменьшилась, но возросла, подпрыгнув сразу на несколько километров. Оказалось, что преодоление сопротивления только увеличило силу удивительного метеора.

Считалось, что физики сумеют разгадать это непонятное явление, а до тех пор оставалось только заботиться о том, чтобы предполагаемая зона разрушения заранее очищалась от людей, чтобы спасти по крайней мере людей. Эта задача была более или менее выполнена.

Дойдя до Балтийского моря, колесо снова погрузилось в воду. Разрушив мимоходом Либавский порт, задев южное побережье Скандинавии по линии Сидрисхами — Ледеруп

— Треллеборг, колесо у Фредериции пересекло Ютландский полуостров и, превратив Данию в островное государство, двинулось дальше. На линии Гримсби — Ольдгем — Ливерпуль колесо вторглось в Англию. Причинив неисчислимый вред в этой густонаселенной стране, оно снова скрылось в воде, и столб воды понесся над ним по Атлантическому океану.

Когда оно снова вынырнуло на американском берегу у Пьер-Микелона, авторитеты должны были признать, что его первый оборот вокруг земного шара был завершен и что вслед за первым оборотом надо ждать такого же второго и третьего. И пока колесо совершало свой губительный путь, сотни ученых были мобилизованы, чтобы разгадать это странное явление. Предполагалось, что им удастся это сделать хотя бы до конца второго оборота, так что третьего уже не будет, — однако кончились и второй, и третий, и пятый, и одиннадцатый обороты, а вопрос все еще не был решен.

Армия исследователей сопровождала колесо на его пути, делая наблюдения над направлением и темпом движения; отбросы колеса исследовались в лабораториях всего мира.

Линия движения представляла собой прямую линию с уклоном в четверть градуса на длину тропика. Весь путь, нанесенный на глобус, представлял винтовую нарезку на шаровидном теле, причем линия нарезки непрерывно утолщалась. Человек, который хотел бы чернилами обозначить на глобусе этот путь, должен был бы начать с едва заметной линии, с тем, чтобы уже к концу восьмого оборота работать пером на весь нажим.

Так продолжалось до начала двенадцатого оборота, когда на южном течении Миссисипи колесо сделало неожиданный зигзаг, и после этого под винт попало южное полушарие, до тех пор незатронутое колесом.

Всеми мероприятиями против колеса руководил всемирный комитет колеса. Его работа тормозилась из-за войны, разделявшей мир. Европа представляла несколько враждебных лагерей, в Азии война была в разгаре, Америка защищалась с обеих сторон кордонами. Колесо путало расчеты

воюющих, выводило из строя одних, усиливая этим других, и потребовалось много горьких уроков, прежде чем противники поняли, что рано или поздно колесо растопчет их всех.

Работой химиков руководил Роден. Он высказался в том смысле, что в химическом составе колеса есть неизвестное науке вещество, которое при взрывах не только не разрушается, но с каждым разом крепнет. Этим он объяснял все увеличивающуюся скорость движения колеса и все расширяющуюся зону его разрушения. Земля, вода, огонь — все, что в природе представляет сопротивление, — не страшно для этого вещества и только усиливают его. Наоборот, если бы было возможно создать для колеса среду, совершенно лишенную сопротивления, оно, может быть, потеряло бы в силе и скорости и даже остановилось бы совсем. В этом направлении он работал.

Ученые, занятые борьбой с колесом, выдвигали и другие теории. Теорий было много, но ни одна из них не охватывала явлений колеса со всех сторон. Достаточно сказать, что даже основной вопрос: является ли колесо делом человеческих рук или же осколком какого-либо из надземных миров, испытавших разложение — даже этот вопрос решался ими и в ту и в другую сторону.

7. ТЕМНАЯ КАЙМА

— Не хотел бы я сейчас быть учителем географии, — сказал Цербет, лирический поэт, Эккерт, предсказателю погоды. — Колесо портит им музыку. Едва ученик успеет выучить, что какой-нибудь Клейндопшельбаух лежит на среднем Одере, славится производством карандашей, красотой окрестностей и собором, построенным в пятнадцатом веке, — и вдруг: ни собора, ни карандашей, ни окрестностей. Вместо всего этого канал в два километра шириной, с сомнительного цвета водой и дохлой рыбой на поверхности. А где Кельн? Где параллель Кольвиц — Крефельд? Вся линия: Мансфельд — Гайн — Оберньеза — Брилон — Мюльгейм — Дуйсбург?..

Названия погибших городов, легко приходившие ему на память, звучали торжественно. Они укладывались в стихи, и Цербет, подверженный соблазну ритма, был не прочь удлиннить список, но Эккерт, который обращался лишь к сути слов, слушал его горестно и при каждом названии шевелил губами.

— Занятия жителей? — продолжал Цербет с одушевлением. — За ними невозможно уследить. Какой-нибудь Шульц всю жизнь жил вдали от рек и морей, сажал картошку и рассчитывал умереть на сухом месте. И вдруг его извещают, что в такой-то день и час его картошка провалится сквозь землю и сам он также последует за ней, если не отбежит за столько-то километров в сторону. Он отбегает, возвращается и видит себя на берегу канала с двухцветной красно-зеленой водой. Эту воду нельзя пить, но по ней можно плавать в лодках и на судах. Железные дороги прорваны колесом, и пока строятся мосты, грузы идут по каналам. При этих условиях приходится забыть о картошке и стать плотником, матросом, капитаном. Еще позже канал встречается с какой-нибудь большой рекой, часть его воды начинает утекать в море. Он мелеет. Шульц возвращается домой, и тут убеждается, каким дураком он был

всю жизнь. Колесо разворотило землю и показало ему, какие богатства лежали под его картошкой: золото, уголь, медь... Он делается золотоискателем и сначала очень этому радуется, но потом начинает жалеть о картошке. О чем говорят последние цифры: население убывало на одну десятую, а площадь под хлебом сократилась на целую треть. Если дело и дальше пойдет в этой пропорции, каждый предпочтет картошку ...

— Нас ждет голод, — сказал Эккерт тягуче. — Это ясно: мы выйдем от голода...

— Если только, — перебил его Цербст, — до этого не будем попросту раздавлены колесом. Сейчас оно не тронуло нас, оно оставило нас прозябать на полосе между двумя зонами разрушения. Но через год оно кончит обрабатывать землю поперек оси и начнет винтить через полюса. К тому времени от земной поверхности не останется ничего кроме каналов с океанской водой и узенькими полосками суши между ними. Мимо Берлина поплывут льдины из Северного океана. Их увидят те несчастные существа, которые останутся в здешних местах.

— О, да: каналы! — вздохнул Эккерт. — Слишком много каналов. Они нас погубят. Не странно ли, что я уже почувствовал нечто подобное. Меня всегда печалило, что на нашей карте слишком много зеленой краски. Я сам не мог понять, откуда у меня эта нелюбовь к зелени, которая другим как раз нравилась. Теперь я понимаю: это было здоровое чутье, тоска по хорошим водоразделам — как бы они пригодились нам теперь.

— Вы думаете, нам могут помочь водоразделы? — переспросил Цербст с неудовольствием, ибо водоразделы нарушали созданную им картину неминуемой гибели. — Что такое водоразделы? Временная отсрочка, какие-нибудь лишние два-три года отвратительного существования, без перспектив, с мышинной борьбой за кусочек места. Вы забываете, что, кроме каналов, колесо может уничтожить нас на тысячу ладов.

Он подумал и без труда выложил перед Эккертом парочку добавочных способов гибели: массовое отравление

водой, взятой из рек, связанных с системой каналов, чудовищная эпидемия, которая будет вызвана обилием падали в местах прохода колеса.

— Мир провоняет тухлой рыбой! — кричал Цербст.

Он оживился, придумывая новые способы гибели, но чей-то резкий голос за его спиной прервал его.

— Вы начитались плохих газет, молодой человек, — увесисто сказал старик в сером мундире, стоявший позади него. — Вы даром пугаете людей. Ничего из того, что вы говорили, не случится. Потому что колесо будет остановлено.

— Каким образом?

Цербст усмехнулся свысока, но Эккерт взглянул на старика с надеждой.

— Об этом позаботятся те, кто сменит у власти теперешних правителей. Потому что на нынешних нечего рассчитывать. Надо даже благодарить колесо: оно доставляет им столько неприятностей, что они не выдержат и устранимся сами, не дожидаясь, пока другие устранят их силой...

Старик говорил вполголоса, но все же слишком громко для осторожного Эккерта, который почувствовал себя неловко и стал смотреть в сторону. Эккерт уверенно обращался с погодой и лунными затмениями, но робел, когда дело касалось предрежащих властей.

— Ваш девиз: чем хуже, тем лучше? — спросил менее осторожный Цербст.

Разговор происходил на улице в очереди перед хлебным распределителем. Очередь отражала двусмысленное настроение в городе, в котором на восемь миллионов жителей не было и сотни вагонов продовольствия. Старик в сером мундире был лишь откровеннее других. Цербст пригляделся к его мундиру и улыбнулся: по краю воротника у него шла темная кайма — след от споротого галуна.

— Как вы думаете, — сказал старик, — чего хотят эти люди? Хлеба и уверенности в завтрашнем дне. Они напуганы и молчат, но их чувства понятны. Весь город молчит, и только громкоговорители кричат за всех. Они убеждают нас ждать, рассказывают нам истории: хлеб был на дороге к нам, но колесо прорвало железнодорожные пути, к про-

рыву посланы аэропланы, завтра все будет в порядке. Возможно, что это и так. Люди получают хлеб. Но не всем удастся проглотить его. Потому что явятся другие люди и скажут: «Отдай. Ты не работал. У тебя есть лишнее». Тебя ограбят во имя справедливости, и ты не найдешь защиты. Они могут грабить. Но они не могут остановить колеса. Потому что наука не с ними. И я понимаю того человека, который знает секрет колеса, но молчит, ибо не хочет помогать грабителям...

— Вы полагаете, что секрет колеса известен белым? — спросил Цербст.

— Я повторяю то, что слышал от других, — ответил старик, двусмысленно улыбаясь. — Я говорю лишь, что понимаю человека, который ждет другого времени, чтобы открыть карты. Это жестоко, но необходимо.

Снова заговорил рупор: вызывались желающие работать в прорыве. От желающих не требовалось специальных знаний — только сильные руки и смелость. Обещался добавочный паек. Сообщалось, что главная работа уже выполнена войсками, также вызванными к прорыву.

— Возможно, — сказал старик, оглядывая очередь, — найдутся дураки, которые за кусок хлеба полезут в пропасть.

— Здесь центр города, — заметил Цербст, шурясь на темную кайму от споротых галунов. — Здесь особая публика. В рабочих кварталах другое настроение. И там люди полезут в пропасть не только за кусок хлеба.

Цербст не имел отношения к рабочим кварталам, но говорил строптиво, с желанием противоречить. Он был поэт, и с ним случались превращения. Он стоял в очереди с мыслями, которые немногим отличались от того, что говорил старик. Он тоже пострадал от революции, которая ликвидировала лирику, единственное, к чему он был способен. Он стал человеком сомнительной профессии; тяготился этим и втайне изобретал едкие четверостишия, которые получали устное распространение. Но, очутившись против человека в сером мундире, он понял, что не может быть с ним заодно.

— Кое-какие идеи у них все-таки есть... — сказал Цербст, глядя на старика недружелюбно. — Они сделали многое для широких масс, они улучшили положение рабочих, — что можно возразить против этого?

— Обман, — ответил старик гадливо. — Подачка, чтоб крепче прибрать их к рукам.

Эккерт, осторожный человек, которого тяготил громкий разговор, вмешался, чтобы примирить оба мнения.

— Они улучшили положение рабочих, и против этого никто не спорит, — сказал он Цербсту, любезно улыбаясь.

— Но... — с тою же улыбкой повернулся он к старику, — они сделали их господами положения, и это преждевременно.

— Это будет преждевременно и через тысячу лет, — поправил его старик. — Есть вещи, которые останутся неизблемыми, пока стоит мир. И вы видите, что происходит: их эксперимент разваливается на глазах у всех и только ждет толчка, чтобы упасть окончательно. Надеюсь, что осталось ждать недолго: дни, может быть — часы...

Он говорил веско, с тяжеловатым злорадством. Цербсту в его манере почудилась старая гвардейская ограниченность. Но Эккерт увидел нечто большее: точные сведения, дальновидность, уверенный расчет.

— Будет очень жаль, если они падут, — сказал Цербст с раздражением. — Для нашей страны это будет шаг назад: от более справедливого порядка к менее справедливому.

Он с ненавистью взглянул на кайму, которой предстояло снова покрыться галуном, совершенно забыв о том, что еще недавно сам желал этого.

8. ФАКТОР ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В половине первого громкоговоритель сообщил ожидающим, что хлеб будет доставлен к распределителю не раньше чем через полтора часа. Очередь дрогнула, но осталась на месте. Цербст посмотрел на часы, подсчитал номерки и уныло объявил, что четвертая сотня, к которой принадлежал он и его соседи, получают хлеб в лучшем случае к трем часам. Он был недоволен отсрочкой, кривился и ворчал насчет времени, которое тратится черт знает на что.

— Вы должны подавать пример бодрости, — заметил старик презрительно. — Вы сами только что хвалили этот порядок.

Цербст был голоден и не стал огрызаться. Он молча отвернулся, стараясь не смотреть на воротник с темной каймой.

Люди в очереди стояли, повернув головы в том направлении, откуда должны были прибыть грузовики с хлебом. Улица была мало оживленной, и каждый грузовик, заворачивавший с площади, возбуждал в очереди надежды.

Несколько грузовиков, один за другим, проехали мимо очереди и остановились у ворот углового дома. Они подъезжали пустыми, откидывали боковые решетки, принимали груз — какие-то большие, набитые соломой ящики, которые ставились на платформы стоймя, после чего решетки захлопывались и машины медленно в одном направлении отъезжали.

Им на смену явились машины, груженные людьми и имуществом. Люди соскакивали с площадок и входили в ворота с оглядкой, точно шли на разведку. Через некоторое время они появлялись снова, окликали женщин, сидевших на вещах, шумливо принимались за разгрузку.

— Полюбуйтесь на ваш справедливый порядок, — громко сказал старик. — Полюбуйтесь на него: вот он весь перед вами...

Это была картина принудительного вселения. Многие из стоявших в очереди, занимавшие площадь больше декоретной, сами ждали к себе подобных же гостей и с мрачным интересом наблюдали их прибытие.

— Этот дом принадлежит Вамбергу, — сказал старик, — миллионеру и филантропу. Знаменитые ночлежные дома Вамберга основаны им. Две трети его состояния ушли на это дело. В этих домах бесприютный человек получал максимум того, что можно получить за его гроши. При новой власти он не бежал за Альпы, ссылаясь на две трети состояния, которые он отдал добровольно. Он не знал, с кем имеет дело. Ему ответили, что, если б он своевременно отдал все три трети, то с ним был бы другой разговор, и отвели ему койку в одном из основанных им домов. Вот как обошлись с человеком, который делал только добро и верил в людскую благодарность.

Старик говорил с негодованием. Между тем дома Вамберга были известны в городе с другой стороны.

— Говорят, что он основал их лишь для того, — заметил Цербст, — чтобы иметь наготове штрейкбрехеров во время забастовок на его предприятиях. Если ночлежник не хотел быть штрейкбрехером, его выбрасывали на улицу и портили ему документы. Убытки от забастовок стоили бы ему больше, чем суммы, истраченные на постройку домов.

— Так пишут в газетах, — презрительно сказал старик. — Стоит ли этому верить?

— Во всяком случае, — продолжал Цербст, — с ним обходятся лучше, чем он обходился со своими клиентами. Он выметал их на улицу в семь с половиной утра, чтобы они не приучались к праздности. При новом порядке он может целый день находиться под крышей, нюхать лизоль и лежать на гигиенической железной сетке, систему которой он сам же и придумал...

— Вам известны такие подробности о домах Вамберга, — заметил старик, — что можно подумать, будто они вам знакомы по опыту.

— Да, знакомы, — ответил Цербст с вызовом.

За всю жизнь ему случилось провести у Вамберга три ночи, но сейчас он чувствовал себя профессиональным бесприютным, придавленным и злым.

— Так или иначе, — продолжал старик, поворачиваясь к другим слушателям, — Вамберг ограблен дочиста. Сейчас из его дома вывозят статуи и редкости. В дом приехали новые жильцы. Они привезли с собой детей, корыта и кухонный чад. Вы видели, какой воровской походкой они входили в дом: они понимали, что участвуют в плохом деле. Если бы они были умнее, они не входили бы туда совсем. Потому что именно им придется расплачиваться за преступления тех, кто послал их туда. И не успеют они испакостить как следует вамберговские ковры, как их вышвырнут оттуда вместе с их запахом и кастрюлями...

Цербст, мучимый голодом, молчал, чтобы не наговорить дерзостей; Эккерт снова смотрел в сторону. Седой длинноволосый человек, до тех пор молчавший, один отозвался на слова старика.

— Не могу разделить вашей уверенности, — сказал он ему, смягчая противоречие улыбкой. — Думаю, что вамберговские ковры все-таки основательно пострадают.

— Вопрос нескольких дней... — сухо отозвался старик.

Длинноволосый человек еще раз улыбнулся.

— Я по рождению русский, — пояснил он потом, — и я уже видел сцены, подобные только что происшедшей. Такие же автомобили увозили из дворцов упакованные ящики, и такие же люди в хлебных очередях говорили, что это вопрос нескольких дней. Я был против насилия и не одобрял происходящего. Когда-то мне пришлось ответить в анкете на один вопрос: «Признаете ли вы нас как факт или как фактор исторического развития?» Я ответил: «Вы — факт, этого нельзя отрицать, но конечно вы не фактор исторического развития». Помню, что это отразилось на величине моего пайка, а затем я предпочел вообще покинуть страну. Я считал насилие ошибкой, оскорблением действительного исторического процесса. Я и теперь думаю так же. Но вот несколько недель назад мне снова пришлось заполнять анкету, и там в другой форме я увидел все тот же

вопрос: «Признаете ли вы нас как факт или как фактор исторического развития?» Вопрос догнал меня через сорок лет, седого и в другой стране, и у меня уже не хватает уверенности, чтобы ответить на него отрицательно. Кто знает, может быть в истории действительно есть законы, которые я проглядел. Иначе чем объяснить повторяемость одних и тех же явлений ? ..

Он смолк, честно раздумывая, не проглядел ли он чего-нибудь в законах истории. Его раздумье однако не произвело на старика впечатления и не уменьшило его самоуверенности.

— История иногда идет и ложным путем, — сказал он со смехом. — Пусть это вас не беспокоит. Вы забываете, что здесь не Россия и здесь умеют на насилие отвечать насилием же...

9. МАЛО СОЛИЛИСЬ

К двум часам к распределителю подвезли хлеб, к половине третьего очередь значительно подвинулась вперед, в три распределитель закрылся, оставив за дверьми большую часть, но рупоры попросили людей не беспокоиться, ибо хлеб есть и новый запас будет послан немедленно. Головы снова повернулись к площади, откуда должны были прибыть грузовики.

В три десять мимо очереди прошли грузовики, но они были бронированные, в них находились вооруженные люди. В три двадцать из центра донесся первый выстрел. Рупоры продолжали кричать, приглашая к спокойствию, убеждая население не придавать значения попытке ничтожной кучки людей, желающих воспользоваться голодным озлоблением и отсутствием в городе войск.

В три сорок старик понюхал воздух и вынул из кармана противогаз. Люди, не имевшие масок, бросились к убежищу — среди других Эккерт, у которого в этот момент бесполезно было узнавать что-либо о направлении и силе ветра, о влажности воздуха и прочих показаниях, которые могли обезвредить газовую атаку и могли сделать ее очень опасной. Он на некоторое время забыл свою науку.

В четыре тридцать рупор оборвался, не кончив призыва. В четыре сорок он заговорил снова, но уже другим голосом и на другой лад. Голос был спокойный, высокомерный, благожелательный. Он сообщил, что власть ничтожной группы насильников свергнута и восстановлен законный порядок, приглашал жителей запомнить этот исторический момент, обещал прощение раскаявшимся и выражал уверенность, что в ближайшие часы сопротивление пригородов будет сломлено. Люди в убежище были слишком голодны, чтобы радоваться или злобствовать по поводу переворота, и приняли его как факт. В пять тридцать им сообщили, что улицы свободны от газа и они могут выйти.

Старик в сером мундире стоял на площади. У него еще не было галунов на старом месте, но какая-то перевязь уже украшала его рукав. Такие же перевязи были и у других людей, находившихся на площади. Старик не имел оружия и в происшедших событиях по-видимому был только зрителем. Ворота в доме Вамберга были заперты изнутри. Около дома возились солдаты. Один из них сверлил дыры в воротах, другие подтягивали к ним трубки от баллонов с газом.

Старик был рад снова, в момент своего торжества, увидеть соседей по очереди. Он иронически, но благожелательно взглянул на длинноволосого человека, который после сорока лет сопротивления так некстати проявил уступчивость.

— Видали? — сказал он ему с довольным смехом. — Вот как у нас обращаются с факторами исторического развития...

Длинноволосый человек пожал плечами и промолчал.

Старик ничего не имел и против Эккерта, совершенно пораженного его пронизательностью в делах, в которых сам он был так робок. Зато физиономия Цербста вызвала в нем недружелюбные чувства.

— Вы, кажется, недовольны переменой? — сказал он ему сухо. — Вы говорили, что старый порядок был более справедливым?

Цербст, голодный и смирившийся, больше всего хотел бы, чтоб его не трогали. Он всю жизнь не мог толком ответить, какой порядок ему нужен, и не умел давать прямые ответы. Он хотел уклониться от ответа, но неожиданно темная кайма на воротнике, снова попавшаяся ему на глаза, взбодрила его.

— Да, я говорил это... — ответил он строптиво, с бесильным вызовом.

Офицер, находившийся вблизи, повернул к нему голову:

— Агитатор?

От старика зависело дать делу тот или иной оборот. Он мгновение думал.

— Во всяком случае: враг, — сказал он веско. — Субъект из ночлежки, любитель противоречить ...

— Мы не можем оставлять врагов у себя за спиной, — заметил офицер.

Он еще раз с вопросом взглянул на старика. Старик пожал плечами. Офицер позвал солдат и показал им на Цербста:

— В распоряжение лейтенанта Шардаля.

Дальнейшая судьба Цербста была стремительной. Его повели к воротам какого-то дома, он сделал попытку вернуться к старику, чтобы объясниться с ним, но получил от конвоира прикладом в спину и был представлен Эгону с особым добавлением:

— Этот человек хотел бежать...

Эгон не стал слушать его объяснений. В этот день он впервые вышел из подполья, свободно ходил по улицам, чувствовал себя самым собой. Он был опьянен событиями. Не слушая Цербста, он показал солдатам на стенку.

Цербст погиб, оглушенный, удивленный, едва понимая, что он погибает, и может быть поэтому не унизившись до слез и просьб о пощаде.

Его имя впоследствии было упомянуто в списке жертв переворота. Самый переворот в хронике революции занял очень немного места, как одна из попыток реставрации, во время которой на несколько часов были захвачены врасплох некоторые правительственные учреждения. К вечеру напор из пригородов и вернувшиеся войска восстановили обычный порядок. Сторонники восстания погибли или бежали.

Среди вооруженных рабочих, двигавшихся к центру города, был молодой смуглый человек, не похожий на других. Город и люди были для него новы. Он смотрел на них с странной улыбкой, точно встречал в них знакомые черты.

Он видел фигуры, рыхлые и разбухшие, почти уже не встречавшиеся на его родине, замечал осанки и жесты, также забытые там. На его глазах прошли оживление и спад неоправдавшихся надежд, он был свидетелем многих сцен необдуманного торжества, которое потом искупалось лице-

мемием, многих промахов, шатаний, незрелости. Для него все это было как бы повторением пройденного, знакомым по собственному опыту, но больше из литературы.

«Свежая страна! — думал он, глядя на людей, которым еще ко многому надо было привыкать. — Мало солились!..»

10. ВАМ НЕЗАЧЕМ ВИДЕТЬ РОДЕНА

Смуглый человек был Тарт. Он незадолго перед этим прибыл в Берлин и случайно стал участником борьбы. Настоящая цель его -приезда была другая.

Тарт, окончив школу, думал вернуться к нефтяным насосам, но загадка колеса отвлекла его в другую сторону. Он стал агентом комитета колеса и некоторое время работал в лабораториях, исследуя отбросы колеса. Потом он понял, что этот путь не для него: нельзя было рассчитывать, чтобы ему, с его небольшими знаниями, удалось в короткий срок добиться успеха там, где становились в тупик опытейшие ученые. Он выбрал другой путь: он знал, что где-то на свете есть человек, который держит в руках секрет колеса, и его задачей стало найти этого человека.

С мандатом агента колеса он отправился в путь. Мандат был действителен для Средней Европы и для большей части Азии, но не давал доступа ни на фашистский юг, ни в Англию, где перевес был у реакции, ни в Америку.

В Берлине жил Роден. Его имя прежде других приходило в голову, когда подымалась речь о возможных изобретателях колеса. Казалось, ему одному было по плечу выполнение этой задачи. Кроме того Тарт не забывал, что во время войны перманентная бомба Родена работала на обеих сторонах. Роден объяснял это своим беспристрастием. Однако на деле его беспристрастие дорого обошлось населению городов. Не было ли и колесо, которое также работало беспристрастно, продолжением его прежней нейтральной деятельности?

Другим именем, останавливавшим внимание, был американец Синтроп, изобретатель лампочки темноты, прибора аналогичного световой лампочке, но действовавшего с обратным результатом и способного затемнить самый яркий дневной свет. Изобретение это пока только удивляло людей. Его практическое применение еще не было известно, тем более, что и сам изобретатель, вследствие резких

переходов света и тьмы, испортил на этой работе зрение.

За ним шел Магада, итальянский химик, душитель взрывов, изобретатель газовой стены, пройдя которую, снаряд лишился способности взрываться.

В списке Тарта стояло еще много имен. Все это были химики и изобретатели, и каждый из них чем-либо заставил о себе говорить. Имя Дарреля также встречалось в этом списке, но оно было одним из последних и почти не принималось в расчет. Незаметный инженер, копавшийся в пустых скважинах, памятный ему с детства, казался ему неподходящим для роли изобретателя колеса.

Институт Родена, невысокое белое здание за оградой, не охранялся снаружи, и Тарт без труда прошел в вестибюль. Он не встретил никого и в вестибюле, однако легкий треск, сопровождавший его, по мере того как он продвигался вперед, показал ему, что его появление замечено и он уже сфотографирован в десятке видов. Ручка у двери в комнату секретаря оказалась неподатливой, ее пришлось плотно охватить рукой и надавить книзу, причем указательный палец уперся в холодную мягкую пластинку. В комнате секретаря его спросили, зачем он пришел, и отвечая, он уловил шипенье диктофона, записывавшего его речь. Он был сфотографирован, сфонографирован, дактилоскопирован и занумерован еще прежде, чем успел хоть издали увидеть Родена, — он, явившийся к Родену как соглядатай, чтобы разобраться в его химии и, в зависимости от результатов, оправдать его или потребовать к ответу.

— Я хотел бы поговорить с профессором лично, — сказал Тарт.

— Это невозможно, — ответил секретарь. — Профессор не принимает посторонних посетителей.

— Я приехал издалека...

— Вы напрасно трудились.

Секретарь сидел, опустив голову над столом. Тарт видел лишь его рыжую вихрастую шевелюру. Его удивляло, что при таком положении головы голос секретаря оставался звучным и отчетливым.

Неожиданно голова поднялась и откинулась, — в два приема, с машинным звуком, — и Тарт увидел, что это был всего лишь парик, надетый на металлическую пластинку, на которой художник наметил нос и глаза. Звук шел из трубки у того места, где шея заклепками прикреплялась к стальным плечам. Секретарь был металлический. Его едва намеченное лицо внушало страх.

— Время профессора точно рассчитано, — заговорил он после паузы, и Тарт невольно уставился на нижнюю часть его лица, где не было рта. — Его нельзя отрывать от работы. Не будет преувеличением сказать, что каждая его минута драгоценна. Назовите мне другого человека, живущего в ваши дни, который мог бы заменить Родена на его посту?

Он дал Тарту время подумать, существует ли другой такой человек, и через отсчитанное число секунд высказал собственное беспристрастное мнение:

— Я лично не могу вспомнить ни одного имени, которое в данном случае выдерживало бы сравнение...

Его голос был богат оттенками. Он заражал спокойствием и убежденностью. Но нарисованные глаза смотрели не мигая и нижняя часть лица была неприятно пуста.

— Его дверь закрыта для всех, — объявил он потом. — Только старший секретарь с телеграфными сводками имеет право входить к нему. С остальными сотрудниками он беседует от двенадцати до половины второго при обходе лабораторий. От половины второго до двух профессор обедает, и потому также никого не принимает. От двух до трех в институте мертвый час. Всякая работа и всякие разговоры о колесе в этот час воспрещаются. Сотрудникам предлагается не думать о нем, чтобы лучше отдохнуть для вечерней работы. Говорить с Роденом о колесе в этот час бесполезно. В три его дверь снова закрывается...

Он снова подождал, чтобы посетитель придумал свои доводы против такого порядка работы в институте и лучше осмыслил то, что он ему скажет потом.

— Нам могут возразить, что при таком порядке до Родена не доходят многие важные идеи, с которыми являются к нему посетители. Мы это знаем. Мы идем на этот

риск. Лучше планомерная безостановочная работа в однажды принятом направлении, чем случайные, может быть, блестящие идеи, которые создадут перебои в работе. Сотни людей ежедневно добиваются личной беседы с Роденом. Если дать каждому по десять минут, получится ничем не вознаградимая потеря времени. Возьмем карандаш, помножим десять на полтора и посмотрим, сколько минут потребуется Родену, чтобы переговорить со всеми посетителями.

Он согнул в локте руку, занес ее над столом, зажал в пальцах карандаш, написал цифры и подвел итог: полторы тысячи.

— Теперь возьмем числа шестьдесят и двадцать четыре и перемножим их. Это составит тысячу четыреста сорок. Сравним оба итога. Подумаем над ними...

Он оторвал от катушки листок с цифрами и протянул его Тарту.

— Родену не хватит суток на одни разговоры! — кричал он, пока Тарт выдирал листок из его пальцев. — Ему придется говорить и говорить. Пусть он лучше работает, никем не тревожимый...

Окончив монолог, секретарь некоторое время ждал, глядя на Тарта нарисованными глазами, а затем его голова, обратным ходом, опустилась вниз, поникла над столом, и Тарту снова стала видна его рыжая шевелюра.

Это значило, что посетитель может уходить. Девяносто человек из ста именно так и делали: одни — потому что слова металлического секретаря убеждали их, другие — от сознания невозможности втолковать что-либо в его плоскую нарисованную голову.

Были люди, которые пытались обойти его сбоку и пробраться в дверь за его спиной. В таких случаях он, не подымая головы, вытягивал руки и ноги и говорил:

— Шалишь!..

Если его колотили, он хохотал, и этим приводил нападающего в ужас. Его стальное тело принимало удары, не отступая перед ними и не сотрясаясь.

Если драка затягивалась, он вставал на ноги, вытягивался в стороны, заполнял комнату во- всю ширину, выпускал из себя иглы и медленно шел, тесня посетителя к выходу. Электрические шнуры, вставленные в его спину, тянулись за ним от ящика, около которого он обычно сидел.

Были единичные посетители, которые не дрались, но и не уходили, дожидаясь продолжения во что бы то ни стало. Таких секретарь изнурял повторениями монолога. Многие выдерживали повторение более трех раз.

Тарт прослушал монолог семь раз и добился того, что секретарь переменял программу. Он вдруг зарычал, хрипло и неистово, как рычат автоматы на электрических станциях, извещая дежурного, что масло в трансформаторе перегрелось. И тогда, в ответ на рычание, дверь за его спиной открылась и неприветливый сероглазый толстенький человек заглянул в комнату. Одной рукой он сделал Тарту знак войти, другой вынул штепсель из спины секретаря, чтобы он не вздумал вытянуть ноги при его проходе.

Комната, в которую вошел Тарт, была преддверием лаборатории. Запах химикалий доносился сюда. Ящик нераспакованной посуды стоял на полу. Периодическая система элементов украшала стену как старый трофей. Однако никаких фантастических приборов, никаких цветных жидкостей не было на столе, кроме банки с клеем и ярлычками, которые были здесь нужны для сортировки регистрационных карточек.

Металлический секретарь выполнял черную работу по отсеиванию посетителей. Толстенький секретарь обрабатывал наиболее упорных, просачивавшихся в его дверь. Все они затем возвращались назад, за исключением тех немногих, которые затевали серьезный технический разговор. Таких он передавал в следующую дверь к помощнику старшего секретаря, ибо сам ничего не понимал в химии, будучи по специальности агентом угрозыска с уклоном в психиатрию.

— У вас есть проект уничтожения колеса? — спросил он Тарта, потягиваясь. — Отвечайте без предисловий: да или нет?

Тарт кивнул головой, хотя никакого проекта у него не было. Он думал, что ему удастся оттянуть время, ссылаясь на тайну, если его начнут допрашивать вплотную. Однако секретарь не только не стал допрашивать его, но даже предупредил его, чтоб он не трудился рассказывать подробности.

— Можете не излагать проект устно, — сказал он, протягивая Тарту готовую анкету. — Вот список проектов, обычно подаваемых посетителями. Подчеркните тот из них, который совпадает с вашим.

Тарт с удивлением прочел список. Тут были напечатаны десятки способов уничтожения колеса и, на первый взгляд, довольно действительных способов. Одни предлагали минировать зону перед проходом колеса большим количеством динамита и взорвать колесо. Другие пропускали его через ряд глубоких ванн, наполненных растворами, в надежде, что какой-нибудь из них подействует на вещество колеса. Были ямы в несколько километров глубиной, с отвесными стенами, наполненные горючим. Были способы отвода колеса вглубь земли, где бы оно слилось с раскаленным поясом. Были предложения испытывать на колесе всевозможные газы и лучи. В конце списка были пустые строчки для проектов, не похожих ни на один из предыдущих. Там могло уместиться лишь несколько слов, которыми и предлагалось ограничиться.

— Мой проект отличен от всех этих, — сказал Тарт, — хотя я не знаю, стоит ли его сообщать, если уже у вас имеется столько готовых способов и дело по-видимому решено.

— Все равно, напишите его сущность. Потому что дело совсем не решено. Ни один из перечисленных способов не годится.

— Почему?

— Если взорвать колесо по первому способу и оно действительно распадется на миллионы кусков, то вместо одного колеса мы получим миллион маленьких колес, которые будут кружиться в миллионах направлений, и каждое из них, постепенно усиливаясь, дойдет до теперешних размеров колеса. Более соблазнительно загнать его вглубь зем-

ли, но способы для этого даны недостаточные и, кроме того, нельзя ручаться, что это не приведет к разрушениям еще более ужасным, чем теперь. Что касается ванн, газа и прочего, то в лабораториях проделаны опыты малого масштаба, которые пока не дали результата.

Тарт молчал, думая над пустыми строчками. Секретарь, зевая, наблюдал его.

— По-видимому, никакого проекта у вас нет, — сказал он бесстрастно, — и вы явились с какой-либо другой целью. Прочтите сорок седьмой и сорок восьмой пункты анкеты и подчеркните тот, который найдете подходящим.

В сорок седьмом пункте посетитель заявлял, что он намерен сделать совершенно секретные признания и прежде всего должен покаяться: потому что именно он в безумную минуту изобрел колесо и пустил его бегать по свету. Сейчас он уже не может совладать с ним и обращается к Родену за помощью.

— Разве такие посетители бывают у вас? — удивился Тарт.

— Сотни случаев. Сейчас это мания. Люди приходят, безумствуют, раскрывают тайны, которые на поверку ничего ей стоят. Это сумасшедшие. Мы их лечим, и они довольно скоро выздоравливают.

В пункте сорок восьмом посетитель сообщал, что он считает Родена творцом колеса и явился для мести или для того, чтобы угрозами добиться от него выдачи секрета.

— Такие случаи тоже были?

— Сколько угодно. По сегодняшний день зарегистрированы шестьсот сорок семь человек, подчеркнувших в анкете этот пункт, но конечно вдесятеро больше было таких, которые об этом промолчали. Эти люди доставляют нам много хлопот. Они не понимают, кому они угрожают, не понимают, что работа Родена — сейчас единственное, на что можно рассчитывать в борьбе с колесом.

Он говорил горячо, глядя Тарту в глаза. Тарт почувствовал себя разоблаченным.

— Вам незачем видеть Родена, — сказал секретарь. — И (незачем еще раз приходить сюда. Если вы придете, вас не пустят.

И так как Тарт медлил, он показал ему на часы.

— Сейчас без трех минут два. Через три минуты всякие разговоры о колесе в этом доме прекращаются. Можете идти...

Тарт снова прошел мимо металлического секретаря и через пустынный вестибюль. Стены на этот раз были беззвучны, но какие-то цифры загорелись в матовом квадрате над дверью, перечеркнутые затем жирной чертой. Это был его регистрационный номер и приказ невидимым наблюдателям не пускать его в дом.

11. ВЕС СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА

На улице у ограды он остановился. Его визит к Родену был неудачен, но стоило ли падать духом? Если б ему удалось внушить к себе доверие, стать на работу в лаборатории и сделаться десятым помощником самого младшего из ассистентов Родена, возможно, он через некоторое время научился бы разбираться в третьестепенных подготовительных работах. Но главная его задача от этого не стала бы яснее.

Если предположить, что Роден носит маску, симулируя борьбу с собственным порождением, он носит ее великолепно. Его сотрудники относятся к нему с энтузиазмом, и если ближайшие помощники за долгое время не сумели обнаружить передержку в его формулах, то это не удастся и случайному новичку Тарту, шестьсот сорок восьмому посетителю, явившемуся к Родену с целью уличить его.

Нет, химию ему надо оставить. Его путь другой — внутреннее чутье, наблюдение. Увидеть Родена, услышать его смех, подслушать его ночной бред — этим он скорее добьется своей цели, чем если б годами работал в его лаборатории.

Часы над воротами показали два. В доме заиграла музыка. Она должна была отвлечь обитателей дома от их обычных мыслей. Несколько человек вышли из ограды на улицу. Они не разговаривали друг с другом и не смотрели друг на друга, может быть для того, чтобы вид соседа по работе не вызывал мыслей о самой работе.

Это были ученые, и некоторые из них выглядели очень эффектно. Их отличали седые шевелюры, глубокий взгляд, рассеянны важные осанки. Другие — лысые, близорукие, с озабоченными лицами — казались более обыденными, похожими на людей толпы. Были и люди совершенно ординарной наружности, потертые, неудачливые и с ходом мыслей, по-видимому, невысоким.

Один из них, старик с черной серьгой в ухе, вдруг на ходу почувствовал неудобство в правом ботинке и, нагнувшись, обнаружил, что подошва у этого ботинка протерлась. Совершенно будничное скорбное выражение появилось на его лице, и почти не верилось, что этот человек только что вышел из учреждения, где был занят вопросами мировой важности. Возможно, впрочем, что это был уборщик при лаборатории, промывавший химическую посуду, и эти вопросы были для него необязательны.

Проходя мимо Тарта, сотрудники Родена оглядывали его безразлично или с улыбкой. Улыбки задевали Тарта. Они напоминали ему о шестьсот сорока семи предшественниках, которые до него стояли на этом месте с таким же растерянным видом, и он был рад встретить дружелюбный взгляд старика с серьгой в ухе, который, после случая с ботинком, по-видимому был способен сочувствовать чужим огорчениям.

Старик показал Тарту глазами на дверь института и спросил:

— Не пускают?

— Не пускают, — ответил Тарт. — Между тем, у меня серьезное дело.

— Здесь всегда у всех серьезные дела, — вздохнул старик. — Слишком много серьезных дел...

Тарт пошел рядом с ним, с тайной мыслью разговаривать и вывести от него что-нибудь о Родене. Старик поддерживал разговор.

— У вас прекрасный цвет лица, — сказал он, оглядев Тарта. — Откуда вы?

Тарт рассказал ему о своей родине, о ее выжженной поверхности, о нефтяных насосах и тысячах километров труб, идущих по земле. Колесо в этой стране многое разрушило, но оно же, разворотив землю, дало выход новым источникам, о которых не знали.

Старик слушал, кивая головой. Серьга в его ухе оказалась микрофоном, ибо он был глух. Микрофон имел свойство портиться, — старик не всегда удачно прикасался к нему, — и тогда он переставал слышать что-либо, пока, по-

сле нового нажима на микрофон, ему не удавалось его исправить.

Станным образом, первая порча микрофона произошла как раз в тот момент, когда Тарт упомянул о колесе, а исправлен он был лишь когда Тарт замолчал. Тогда старик поправил серьгу и вежливо сказал:

— Мой микрофон неисправен. Я не слышал того, что вы мне говорили. Но не трудитесь повторять: у нас найдется много других тем для разговора. Меня занимает цвет вашего лица. Вы заметили, что женщины также смотрят на вас с удовольствием?

У старика была особенность, делавшая его почти комическим персонажем. Он страдал подергиваньями. Его глаза по временам скашивались к середине и затем он, одним и другим глазом по очереди, оглядывал нос от переносицы до красного кончика. Он походил на человека, который бы ждал, что его нос с минуты на минуту должен исчезнуть, и беспокоится, не есть ли это уже совершившийся факт. Убедившись, что нос на месте, он переставал дергаться и принимал обычный вид.

Впервые Тарт заметил за ним эту привычку, когда они наткнулись на нищего, попросившего у них милостыню:

— Помогите слепому, пострадавшему от бомбы Родена...

Нищий не отличался от многих других нищих, но старик задержался около него и, скосив глаза, спросил, где и когда это с ним случилось.

— Под Вамбергом, — ответил нищий, — три года тому назад.

— Под Вамбергом... — повторил старик и перестал дергаться. — Вот вам монета.

— Этот человек лжет, — оказал он Тарту, когда они пошли дальше. — Под Вамбергом не было бомб Родена. Бомбы Родена были считаны и все случаи их применения известны. Он путает и время: первая бомба была выпущена всего два года назад.

— Этот человек лжет, — заметил Тарт, — но очень много других таких же не лгут, когда говорят о бомбах Родена. Меня удивляет не то, что Роден изобрел их, но что он снаб-

жал ими обе воюющие стороны.

— Это была ошибка, — ответил старик. — Она будет давить его весь остаток жизни. Он думал, что если дать людям такое средство уничтожения, как его бомбы, война лишится смысла и кончится сама собой. Он плохо знал людей. Их способность уничтожать и быть уничтожаемыми оказалась безграничной. И он добился только того, что все несчастья на свете стали приписывать его бомбам, и теперь нищие его именем выпрашивают себе подавание...

— Одно из двух, — сказал Тарт: — он был или очень ловкий человек, желавший застраховать себя со всех сторон, или же он совершенно ничего не понимал в политике, был политически безграмотен.

— Насколько я знаю, — замялся старик, — правильное будет второе: он ничего не понимал в политике. Эти вещи не умещались в его голове.

— Но что двигало им в работе: выгода? самолюбие? Зависть?

— О выгодах он не заботился. Это установлено: за бомбы он ни с кого не взял ни гроша. Для его открытий не существовало цены. Он ставил себя рядом с Ньютоном и Коперником. Было бы смешно, если б Ньютон вздумал брать пошлину со всех яблок, которые падают на землю.

— Сейчас у него есть соперник, против которого он бессилен. Как он относится к этому?

— В этом отношении он уязвим, — легко согласился старик. — Он всегда был самолюбив. Сейчас его самолюбие задето.

Он нахмурился, скосил глаза, оглядел нос и, убедившись, что он на месте, успокоился.

Они проходили через парк, где им встречались гуляющие. Тарт, смуглый и свежий, обращал на себя внимание. Рядом с ним старик с дергающимся лицом казался лишним. Взгляды женщин обходили его, и старик замечал это покорно и невесело.

— Вы хотите знать, что представляет собой Роден? — сказал он с неожиданной искренностью. — Довольно жалкое существо. Он потратил жизнь на изобретение бомб, а ког-

да он их изобрел, ему же самому пришлось уничтожать секрет их изготовления. В это время он был стариком без волос и зубов. И именно в это время он спохватился, что еще никогда не жил по-человечески. Он не помнил, был ли он когда-нибудь влюблен. Он не замечал, какое у него лицо. Два года назад, когда он стал знаменит, газетам понадобились его портреты. И тут выяснилось, что он никогда в жизни не снимался. Никто никогда не просил его об этом. Не было друзей, которые желали бы видеть перед собой его лицо. А когда фотографы явились к нему, оказалось, что снимать уже нечего. Осталось опустошенное кривляющееся лицо, мимикой которого он уже не мог управлять. И ему пришлось прятаться от фотографов, чтобы они не вздумали показать его лицо публике.

Плачущая маленькая девочка попалась им в боковой аллее. Она потеряла мать и шла, не оглядываясь, не думая, куда она идет. Старик обеспокоился. Он решил, что девочку надо вернуть назад. Он наклонился к ней, взял ее за руку. В его жестах была неуверенность и боязливая нежность. По-видимому, он очень редко, или никогда не имел дела с детьми. Он поднял ее с земли и понес на вытянутых руках и только потом догадался, что детей удобнее носить другим способом. Он был смешон и сам более беспомощен, чем заблудившаяся девочка.

— Не плачь, — упрасивал он ее, потому что она не успокаивалась. — Я тебе куплю очень хорошую штуку...

Он напрягал память, но не мог вспомнить, что соблазнительного можно обещать маленькой девочке. Тарт с улыбкой наблюдал его. Вероятнее всего, на память ему приходили микроскопы и мензурки, но он совершенно забыл о конфетах.

Девочка неожиданно успокоилась. Ее заинтересовали подергиванья его лица. Они ей понравились.

— А ну, дядя, еще раз, — просила она его, если он переставал дергаться. И сама передразнивала его, показывая старику его самого.

Какая-то женщина в конце аллеи освободила старика от его ноши. Девочка с сожалением покинула старика, оставив его в светлом приподнятом настроении.

— Сколько может весить такой ребенок? — сказал старик по дороге. — Каких-нибудь двенадцать, тринадцать килограммов. Весы могут точно показать его вес. Но отец ребенка наверное думает, что он весит меньше. Вес собственного ребенка — это столько-то килограммов плюс нежность, которая уменьшает силу тяжести...

Некоторое время он был мечтательным и молчаливым. Потом он замедлил шаги и остановился у ограды какого-то дома. Тарт огляделся. После долгой беготни через сады и улицы они снова стояли под часами у входа в институт Родена. Из окон еще слышалась музыка. В три часа без одной минуты она смолкла.

— Вот что, — сказал старик, прежде чем пройти в калитку, — позвольте мне резюмировать наш разговор. Вы молоды, наивны, ничего не понимаете в химии. Но вас волнует колесо, вы хотите найти его творца, и вы приехали в Берлин к Родену, ожидая, что он предъявит вам свои тетрадки и успокоит вашу подозрительность. Потому что вы сомневаетесь в его искренности — не так ли? Могу вам сказать, что вы беспокоитесь напрасно: он работает добросовестно.

— Почему вы говорите так уверенно? — спросил Тарт.

Старик из-за ограды повернулся лицом к Тарту. Его глаза скосились и оглядели нос, который был на месте. Не отвечая, он кивнул Тарту головой и вошел в дом.

12. ПОЕДЕМ В БАРРАГАН

Диркс вышел из тюрьмы с мыслью, что до сих пор он занимался пустяками. Он не знал еще, за что он возьмется. Его программа была неопределенной и зависела от будущих встреч. Единственным определенным пунктом в этой программе была — Гверра.

Он ничего не знал о ней. Он сидел в тюрьме, оборудованной радиоглушителями, в которой всякая попытка связи через эфир каралась как покушение на побег. Он мог бы узнать что-нибудь о Гверре, если б она сама написала ему о себе или явилась лично на свиданье, но такая заботливость по отношению к Дирксу была не в ее характере. Если б даже на имя Диркса пришла передача — какая-нибудь пачка бисквитов, присланная анонимно, — он бы знал, что она от Гверры. Но и этого за все одиннадцать месяцев не случилось ни разу.

В Пассаквеколли должны были остаться ее следы, в той квартире, где он в день ареста исправлял ноли на чеках Хуана Ривара. Он направился по этому адресу.

Он вышел из тюремных ворот в стремительном темпе, с потребностью бежать вперед и смотреть, но очень скоро улица вызвала у него головокружение. Ему понадобился отдых. Он отвык от улицы. Он боялся автомобилей. Его собственные ноги не слушались его. Он разучился выбирать для них направление, ибо одиннадцать месяцев ходил под конвоем, глядя в спину товарищу, шедшему впереди. Возможность, по собственному желанию, сворачивать вправо и влево казалась ему привилегией, к которой ему еще надо было привыкать.

На нем был его прежний костюм, возвращенный из цейхгауза. Он вырос из него за одиннадцать месяцев. Короткие рукава и вздернутые колени портили ему настроение. Он думал, что по этим признакам каждый может догадаться, что он вышел из тюрьмы. Он оттягивал рукава книзу, вбирал в себя плечи, старался быть меньше.

Шум улицы отдавался в его голове чужим праздничным гулом. Женщины волновали его. Он хотел любить их всех без разбора, такими, какими они есть. Он был как курильщик, который закурил папиросу после того, как долго высидел без табаку.

В этот день, запутавшись в улицах, он так и не дошел до своей старой квартиры. Ибо еще раньше, на одном из перекрестков он увидел в автомобиле изможденного человека с знакомым лицом. Это был Хуан Ривар. Он сидел у руля и ждал, пока освободится проезд.

Диркс не был мелочным и мог отнестись к нему беспристрастно. Диркс помнил, что Гверра говорила: их легче грабить, чем целовать. Он споткнулся на его чеках, но он даже был лучше других. Диркс помнил, что из всех клиентов Гверры, прошедших через его руки, Ривар был единственным, кто признал грабеж правильным. Он не стал сопротивляться и сам произнес себе приговор:

— Я, старый дурак, позволил себе вообразить...

Диркс был рад увидеть его в день своего освобождения, и только ложные приличия и боязнь быть непонятым помешали ему окликнуть Ривара и приветствовать его как старого знакомого.

Автомобиль подвинулся вперед, и Диркс заметил, что внутри его сидела женщина. Он улыбнулся. По-видимому, старый дурак еще раз позволил себе вообразить. По-видимому также существовал неизменный тип женщины, который ему нравился — тип Гверры.

Потому что молодая женщина, сидевшая сзади, была совсем как Гверра, но только Гверра вымытая во многих водах, перестроенная до последнего волоска на затылке, пропущенная через руки мастеров, которые обескровили ее красоту, сделали ее нежной и неузнаваемой.

Эта Гверра была лишена желаний. Она сидела, не двигаясь, красиво повернув голову. Она была только красива. Она представляла собой раздражающее соединение живого человека и предмета искусства.

Диркс не любил сделанных женщин, боялся их и был рад увидеть каплю пота, скатившуюся у ней с шеи на пле-

чо. Эта капля пота развенчала ее в его глазах.

— Как ни надувайтесь сударыня, — пробормотал он, — вы все-таки из мяса...

Но тут женщина повернула к нему голову, и Диркс увидел глаза, которые не мог не узнать. Глаза оглядели его спокойно и недовольно, и Диркс не заметил в них ни волнения, ни тайного знака молчания. Затем голова вернулась в прежнее положение. Автомобиль продвинулся вперед, и пока Диркс осмысливал положение, Ривар и Гверра исчезли на середине улицы.

День освобождения был испорчен. Остаток дня Диркс бегал по улицам в неутомимом возбуждении, без дороги, не замечая людей. Одиннадцать месяцев тюрьмы снова представлялись ему нестерпимо обидным фактом, и он ставил их в счет Ривару, который именно в это время завладел Гверрой. Еще больше злобы вызывала в нем Гверра. Ривар возил ее за собой как свою собственность. Не значило ли это, что она смирилась, перекрасилась, добросовестно продалась?

Один факт, второстепенный и поздно пришедший ему в голову, особенно возмущал его: почему Гверра за все одиннадцать месяцев ни разу не прислала ему передачи? Ведь она жила рядом, ей это ничего не стоило.

И эта мелкая подробность, — какие-то несъеденные им бисквиты, о которых он узнал задним числом, — беспокоила и обижала его больше, чем все остальное.

Два следующих дня он ловил Гверру на улицах, готовился к разговору. Он полагал, что встреча будет неласковой, и решил быть грубым, чтобы поставить Гверру на место. Он хотел напомнить ей, что такое права сообщника, выпущенного из тюрьмы. Он хотел потребовать от нее то, что ему полагалось:

— Денег на расходы, отчета в поведении, сведений о будущей работе...

Когда он в мыслях беседовал с Гверрой, его интонации были свирепыми и устойчивыми. Он смотрел на нее грозно, как сутенер на взбесившуюся любовницу, и легко находил для нее нужные слова.

— Каждая девочка, — говорил он, — если она не совсем сволочь, понимает, что надо заботиться о товарище в тюрьме. Почему за все одиннадцать месяцев...

Или:

— И вот из-за таких шкур нашему брату приходится сидеть в тюрьмах. Мы подставляем бока, мы губим молодость, а они в это время пролезают во дворцы, делаются куклами и потом отворачиваются, проезжая мимо нас в автомобилях. Ты ей больше не нужен, и она смотрит на тебя, как на тухлое яйцо...

В таком роде он представлял себе свою будущую встречу с Гверрой и, бегая безуспешно по ее следам, он только нагуливал в себе злость. В тот момент, когда ему удалось нагнать ее в подъезде какого-то дома и пролезть за ней в кабинку лифта, он был хорошо заряжен злостью. Он захлопнул дверь, нажал кнопку тридцатого этажа и, когда лифт тронулся, решительно повернулся к Гверре:

— Теперь мы поговорим...

Тон у него был зловещий, пригодный для монолога о бисквитах, но первая же высокая нота прозвучала у него плохо. На него смотрели знакомые ему глаза, веселые и неласковые глаза Гверры, которые никогда и не были ласковее, и под их взглядом он растерял злость. Его интонации поползли вниз и, незаметно для него самого, грозно начатый монолог превратился в ревнивую и покорную жалобу.

— Гверра, — сказал он, обиженно глядя вниз, — я думал о тебе все одиннадцать месяцев. Я ждал, что и ты вспомнишь обо мне. Ведь ты жила рядом со мной. Тебе ничего не стоило...

— Мне было не до тебя, Диркс, — ответила Гверра. — Я была занята другим. Я даже думала, что если мы когда-нибудь встретимся, нам уже нечего будет делать вместе. Ты поотстал, Диркс. Надо признать это. Рядом со мной ты не на месте.

Втайне Диркс понимал это с первого момента их встречи.

— Это верно, — сказал он уныло. — Ты очень обогнала меня. У тебя все другое: и лицо, и платье, и слова. Я даже

не сразу узнал тебя. Мне за тобой не поспеть. Мне никогда не переделать себя, как бы я ни тянулся. Можешь гнать меня вон. Я не обижусь.

Он соглашался на словах, но тон у него был несчастный и губы дрожали.

— Я думала, что нам нечего делать вместе, — сказала Гверра. — Теперь я этого не думаю. Тебе трудно стать другим, зато мне будет легко вернуться в прежнее состояние. Потому что мне надоело мое новое лицо. Оно мне нравилось только первое время. Мне скучно у Ривара. Я наелась. Я отдохнула. Мне пора в путь. И ты не исчезай окончательно. Ты мне понадобишься.

Это была очень уклончивая форма приглашения к совместному путешествию, во Диркса она привела в хорошее настроение.

— Мы еще не были в Баррагане, — продолжала Гверра с улыбкой. — Поедем в Барраган

Лифт доехал до верху и остановился. Диркс пустил его в обратный ход и подсел к Гверре.

— Один вопрос, Гверра: кто такой Ривар? Кто он тебе: муж? любовник?

— Он — никто. Он странный человек. Он ничего не требует. Поцелуи обидели бы его. Он не верит в их искренность. Если с ним обращаешься чуть получше чем с собакой, он уже настораживается: «Пожалуйста, без этих штук. Я не терплю фальши. Я знаю, что не могу внушать вам ничего кроме отвращения. Ведите себя естественно. Это единственное, о чем я вас прошу»...

— Не верь ему, — оказал Диркс. — У мужчины не может быть таких мыслей.

— Я это знаю. Он так часто повторяет, что я не могу его любить, будто ждет, что я из противоречия захочу доказать ему обратное. Я веду себя естественно. Я запираюсь от него на крюк. У меня на двери есть железный крюк. Когда он накинута, я знаю наверное, что ко мне никто не войдет.

— Когда-нибудь он подпилит этот крюк...

— Он уже пытался однажды.

— Дает он тебе денег?

— Он платит по счетам. Я могу покупать все что хочу. Если мы едем куда-нибудь вместе, он дает мне надевать жемчуга. Дома он прячет их в шкаф.

— Он боится, что ты удерешь, если дать их тебе в руки?

Кабинка кончила опускаться. Гверра нажала кнопку восьмого этажа, куда она и хотела попасть.

— А какой конструкции его шкаф? — вдруг спросил Диркс, когда кабинка остановилась у площадки восьмого этажа.

Дверь распахнулась. На площадке стоял человек, желавший войти в лифт. Гверра молча прошла мимо него.

13. МОЖЕТЕ ИДТИ

Итальянец Магада также стоял в списке Тарта одним из первых. Он прославился изобретением магадита, — газа, лишившего снаряды способности взрываться. Для города, защищенного завесой магадита, снаряды были страшны не больше, чем обыкновенные камни, брошенные с высоты: они проламывали крыши и лишь в редких случаях — черепа. Аэропланы, обстрелянные газом, также попадали в мертвую среду и сбрасывали бомбы, опасные лишь своею тяжестью. Было время, когда с именем Магады связывались большие надежды: изобретение магадита отодвигало технику войны на сотни лет назад. «Пушки не стреляют там, где живет Магада, — говорилось в куплетах, сложенных в его честь, — и от снарядов у тамошних мальчишек бывают синяки»...

Очень скоро, однако, научились снабжать снаряды газовыми оболочками, нейтрализовавшими действие магадита, и первый снаряд, благополучно пролетевший завесу магадита и взорвавшийся, взорвал также и обаяние имени Магады.

Магада жил в Сицилии близ Палермо. Чтобы добраться до него, надо было преодолеть заградительную линию между севером и югом, находившимися в положении неконченной войны. Эта линия шла от Пиренеев через Альпы к Балканам и южному течению Дуная.

Полуострова Средиземного моря во второй раз в истории стали ареной переселения народов, с тою лишь разницей, что народы на этот раз не сопровождали своих вождей. Переселились только верхние слои и ближайšie к верхним. Однако, и это одностороннее переселение дало в итоге миллионные цифры.

Изгнание буржуазии, за много лет перед этим начатое с востока, уперлось в горы. За горами начинался интернационал реакции. Малые государства юга должны были кормить миллионы пришельцев. Соотношение рук и ртов в

этих странах было нарушено самым курьезным образом. Между тем пришельцы не удовлетворялись ролью людей, потерпевших крушение, были воинственны, перестроили государства сообразно своим целям, расположились как дома в правительствах, на радиостанциях и в кабаках.

В городах юга любой европейский язык слышался так же часто, как и туземный, и это облегчало Тарту его путешествие. Среди обилия наречий и акцентов его собственный акцент не обращал на себя внимания. Но ему надо было быть очень осторожным, чтобы кто-нибудь из охраны не заинтересовался им всерьез.

Тарт разыскал жилище Магады, увидел его самого. Это был высокий сгорбленный, запущенный человек, с черноседыми волосами и полунегрским лицом. Он жил убого, среди паутины и старых бумаг, но, уходя, принимал меры, чтобы никто не проник в его жилище. Уходил же он часто, много и без цели ходил по улицам, подолгу сидел в кабаках, откуда к ночи выходил шатаясь. Ночью в его жилище было темно: он спал. Оставалось непонятным: когда же он работает и работает ли вообще? Тарт не раз приходил в сомнение: точно ли этот печальный старик, за которым он терпеливо скитается, есть тот самый Магада, когда-то своими формулами умиривший пушки?

Магада был безденежен. В кабаках его грошовой наличности хватало лишь на первые стаканы. Дальнейшие стаканы наливались соседями, и Магада без колебаний принимал, привыкнув пить на чужой счет. Люди, которые поили его, моряки и случайные гуляки, не имели понятия, в чей стакан они льют вино, ими двигало хорошее настроение и жалость к угрюмому старику, а Магада принимал стакан благосклонно, не желая огорчать их отказом, с усмешкой переодетого богача, которого чужая милостыня трогает и забавляет.

На второй день Тарт устроил Магаде экзамен. Он подсунул ему газету с последними сообщениями о колесе. В газетах, в особом квадрате несколько раз в день отмечалось положение колеса: долгота и широта, через которые оно проходило и которым оно угрожало.

Этот квадрат менял положение в газете, занимая все более видное место по мере приближения колеса. Сейчас он находился в правом углу на первой странице: колесо было в Америке, за много тысяч верст, но оно переходило на 32° северной широты и на этой широте должно было пересечь Сицилию. По предварительным вычислениям его зона проходила в нескольких километрах к югу от Палермо.

Сам Тарт в газетах прежде всего искал черный квадрат, как и многие другие читатели, — и если б Магада также начал с квадрата, это еще не значило бы, что у него есть особые причины интересоваться им. Тарт ожидал от него большего: волнения, авторской жадности, какого-нибудь невольного жеста, которым выдают себя преступники.

Магада разочаровал его. Он прочел квадрат без скуки, но и без волнения. Он не мог миновать его, потому что он первым попался ему на глаза, но затем он, не читая, перевернул страницу и перешел сразу в конец газеты. Там был какой-то отдел, который интересовал его больше, чем черный квадрат, и именно здесь он обнаружил и волнение, и торопливость, и разочарование, ибо, по-видимому, не нашел там того, что искал. Он несколько раз, не доверяя себе, просмотрел столбцы. Затем он достал бумагу и карандаш и начал писать.

Тарт по второму экземпляру газеты отыскал страницу, так его заинтересовавшую. Это был отдел писем в редакцию, опровержений, разъяснений. Ни в одной из заметок имя Магады не упоминалось.

Магада писал недолго с гневным лицом. Он был похож на несправедливо обиженного. Казалось, он не мог удержаться, чтобы не высказать кому-то своих упреков. Упорство и мысль появились в его глазах, и на короткое время его пыльный облик стал светлым и необычным.

Он исписал листок и спрятал его. Прежнее вялое состояние вернулось к нему. Его сплющенное лицо снова стало землистым и неподвижным. Он отложил газету в сторону и забыл о ней. Он сидел в углу, молчал и дремал и, выпивая налитое кем-нибудь вино, улыбался устало, улыбкой

переодетого богача, которого начинает тревожить, что никто не догадывается о его маскараде.

И, наблюдая его превращения, Тарт понял, что ему нечего делать около Магады. Магада не мог быть творцом колеса. Нужны были годы уныния и бездеятельности, чтобы так плотно войти в роль неудачника, сгорбиться, стать обезличенным. Нужна была долгая привычка, чтобы научиться пить чужое вино и выносить милосердие собутыльников. Человек, пустивший в ход колесо, представлялся ему жестоким и работоспособным, в его натуре, кроме безумия, должна была быть энергия — свойство, которое совершенно выпало из характера Магады.

Тарт хотел расплатиться и уйти. Досадная история, которой он не мог предвидеть, помешала ему. Около него произошла драка и пьяное убийство. Свет был обрезан, двери заперты, и ему не удалось исчезнуть до прихода полиции. И он и Магада были арестованы и отправлены на допрос.

Тарт впоследствии очень жалел, что не ушел из кабака на пять минут раньше. Для него эта случайность явилась началом больших затруднений. Магада отделался легче. Его выпустили вскоре после допроса. Но самый допрос поставил ему тяжелые минуты.

До сих пор он в кабаках был безымянным посетителем. Его поили вином, не спрашивая о его фамилии, и он пил это вино, ибо оно давалось человеку без имени. Теперь ему предстояло назвать себя.

Он сделал это с волнением и вполголоса, точно боясь, что его имя произведет слишком много шума, если его назвать громко, и был удивлен, когда оно, не вызвав сенсации, стало в ряд с другими именами. Кавалли, Торелли, Магада, Камбони, — таковы были имена арестованных, и чиновник записывал их с одинаковым недружелюбием.

— Магада? — переспросил он, заинтересовавшись его запущенной внешностью. — Мне кажется, я уже встречал ваше имя. Вы профессионал? Зарегистрированы? Бывали в приводах? Говорите правду: вам будет хуже, если я сам найду вас в альбоме.

— Вы ошибаетесь, — ответил Магада с неловкой улыбкой. — Я — Магада. Химик Магада. Вы встречали мое имя в газетах ...

Он полагал, что он сказал достаточно, чтобы чиновник понял, с кем он имеет дело, и ожидал мгновенного изменения его лица, но тот смотрел на него с прежней безразличной миной.

— Изобретатель магадита... — добавил Магада с раздражением, ибо тупость этого человека была очевидна.

— Ничего не слышал о магадите, — сказал чиновник, все еще щурясь и приглядываясь. — Но знаю, что в одном из альбомов вы у меня имеетесь. Сейчас мы это выясним.

Магада оглянулся. Кругом были люди, и кто-нибудь из них мог бы напомнить чиновнику, что представляет собой его магадит. Он оглядел их лица. Лица были осмысленные или тупые, жалостливые или готовые смеяться, но все с одинаковым недоумением смотрели на него, ибо никто не понимал, о чем идет речь.

Магада посерел, сжался, опустил голову. Переодетый богач назвал себя, но его признания пропали впустую. Десять лет тому назад о нем слагали песни, сейчас его имени не помнил никто.

Тарт знал историю магадита и мог бы рассказать ее другим. Но он не решался заговорить, чтобы чиновник по его языку не обнаружил в нем иностранца, прибывшего из неизвестной страны. Он еще надеялся выбраться из участка невредимым.

Кроме него, еще один человек из присутствовавших знал, что такое магадит, но знал плохо, из десятых рук. Это был газетный репортер, свой человек в участке, явившийся за материалом. Он видел сцену допроса и пожалел Магаду.

— Я знаю этого человека, — выступил он на его защиту. — И думаю, что в его словах есть правда. Вы, вероятно, тот самый Магада, который каждую неделю присылает письма в нашу редакцию? Всегда об одном и том же: какой-то магадит был когда-то кем-то фальсифицирован, какие-то враги стоят на вашей дороге, какой-то опыт должен быть вновь проделан, и тогда вы что-то кому-то докажете...

— Да, — ответил Магада, — это я пишу письма. И я не-даром пишу о врагах, потому что благодаря им ни одно из них не проходит в печать. Я хочу сказать людям, что они напрасно отворачиваются от моего магадита. Магадит дей-ствителен, как и в первый день. Вся беда в том, что во всем мире остался лишь один единственный баллон магадита, который я храню у себя. Все остальное подделка, и я за нее не отвечаю...

— Это именно то самое, что вы пишете в письмах, — сказал репортер. — Слово в слово и ни больше ни меньше. И если этих писем не печатают, то не потому что об этом заботились ваши враги. Вы нигде в письмах не объясняете: что именно представляет собой ваш магадит? Против чего он: напиток? удобрение? средство от насморка? Вы полага-ете, что это и так должно быть всем известно. И ошибает-есь. Никто не обязан помнить истории, которые случились десять лет назад. Вот почему редактор не печатает и не чи-тает ваших писем...

Он дружелюбно кивнул Магаде и наклонился к чинов-нику:

— Он не врет. Он действительно когда-то сделал какое-то открытие. Но он открыл, а его перекрыли. С тех пор он не может прийти в себя.

Он добавил еще несколько слов шепотом, и после этих слов у чиновника явилось желание поскорее отделаться от Магады.

— Дело выяснилось, — сказал он, глядя мимо стоявше-го перед ним сгорбленного мертвого человека. — Мне по-казалось, будто вы зарегистрированы в моем альбоме. Я вас смешал с другими...

Он подозвал к себе очередного арестованного и сделал Магаде разрешительный жест:

— Я вас не задерживаю. Можете идти...

14. ГРЕНАДА

Тарту пришлось хуже. По документу он был сыном купца турецкой национальности и, при беглом допросе, он, зная турецкий язык, сумел поддержать эту версию. Но он не мог оказать, на каком пароходе он ехал от Пирея до Палермо, ибо на самом деле прибыл через Альпы и Италию. Его отправили в бюро лингвистов для подробного исследования, и здесь, переходя из рук в руки, от стола балканских народностей, через мадьярское и славянское отделения, он попал к специалисту по кавказским наречиям, который точно назвал ему страну и город, откуда он прибыл.

Он был записан эмиссаром востока, и это в лучшем случае означало для него тюремное заключение на неопределенный срок. В ту же ночь его перевезли в крепость для политзаключенных, находившуюся за городом.

Крепость была старая, построенная еще при сарацинах. Ее подновляли во время наполеоновских войн, когда она в последний раз осаждалась, но за полтора века, прошедшие с тех пор, она утратила всякое боевое значение.

Она представляла собой систему валов и каменных подземелий, на несколько этажей ушедших в землю, с очень толстыми стенами и узкими окнами, выходившими в ров. Валы имели заброшенный вид и заросли цветами и зеленью. Радиоглушители и мачты воздушного электрокольца, окружавшие крепость, были малозаметны и не нарушали общей мирной картины. Позади мачт, вокруг всей крепости, был ров, глубокий, с отвесными стенами, облицованными камнем, а за рвом, около приспособлений для сигнализации, неподвижные, обращенные лицом к крепости, часовые.

Тюремщик встретил Тарта на подъемном мосту и ввел его в ворота. В его обязанность входило показать новичку, как крепка его тюрьма. На валу он остановился и обвел рукой мачты и рвы.

— Запомните хорошенько, — сказал он голосом, сбитым от сырости и молчания, — из этой тюрьмы нельзя убежать. Можете мечтать сколько угодно, но обратите внимание на тройную цепь: электрокольцо, ров, часовые...

В приемной Тарта раздели. Его платье бросили в общую кучу, и это значило, что никто не думает, что его когда-нибудь понадобится возвращать назад. В другой куче исчезли его ботинки, и вместе с ними мандат агента колеса, заделанный в каблуке.

Тарт вышел из приемной голым, без единого волоса на голове и на теле, с искусственно опорожненным желудком, после ванны из реактивов. Все эти меры принимались для того, чтоб он не пронес с собой ни грана химии пригодной для радиосвязи. Он получил двцветный арестантский костюм и, надев его, испытал обычный для новичка круг настроений: подавленность, безнадежность, поздние сожаления об ошибке, которая привела его сюда и которой можно было избежать.

Первый день он провел в углу, не двигаясь, едва различая людей в камере. Они все представлялись ему на одно лицо. Разница между ними была лишь в степенях подавленности. Немного позже он научился различать оттенки в выражении их глаз, показывавшие, что у одних были какие-то надежды, другие не видели пред собой никакого просвета. Если спина у человека выпрямлялась на незначительную величину, это значило, что он начал оживать.

Но главной приметой была длина волос на голове. Новичок с гладко выбритым черепом мог только лежать и отчаиваться. Он был деморализован, он не верил в будущее. Потребность ходить, пряча от других взгляд, останавливаться у окон, мерить на глаз глубину рва — появлялась у него позже, когда его волосы отрастали на четверть сантиметра, и это показывало, что он снова поверил в какое-то будущее.

Арестантов с волосами длиннее чем в полтора сантиметра не было в камере. К тому времени их дела решались в какую-нибудь сторону, и когда волосы подходили к этой длине, сон арестанта делался беспокойным, а взгляды, бро-

саемые за окно, тоскливыми и упорными. Затем следовал вызов наружу, — дневной или ночной, — и он исчезал совсем.

У окна, заглядывая за решетку, иногда мимоходом останавливался высокий арестант, с нездоровым лицом и пристальными глазами. Волосы на его голове едва проросли, и это значило, что он раньше обычного срока вышел из безвольного состояния.

Окно выходило в ров. За решеткой он мог видеть кусок каменной облицовки рва, а повыше ее основание электромачты и ноги часового. Это должно было бы ему напомнить поучение, которое говорилось при приеме: «Можете мечтать сколько угодно, но обратите внимание на тройную цепь: электрокольцо, ров, часовые» ...

Если он думал о побеге, то налицо перед ним были все эта неодолимые препятствия. И тем не менее Тарт видел, что его глаза светлеют, когда он смотрит в ров, и делаются насмешливыми и жесткими.

Многие люди также заглядывали в окна и отходили от них с решимостью в глазах, но их решимость не заражала Тарта. Она казалась наигранной, точно они сами убеждали себя не терять веры в химеру. Вероятно, в этот момент они в сотый раз представляли себе, как однажды в бурную ночь они ползут через ров напролом, мимо спящих часовых, сквозь кольцо, которое как раз в эту ночь окажется без тока. Но если б их спросить, как выглядит в подробностях ров, в который они так часто заглядывают, они смогли бы ответить только, что он широкий и глубокий.

Совершенно другими глазами смотрел в ров высокий арестант. Казалось, он действительно видел там что-то не воображаемое, но находящееся перед глазами, разглядел какие-то слабые места, сделал нужные выводы и теперь может быть спокойным и насмешливым.

Высокого арестанта звали Гренадой. Тарт узнал его имя вечером во время проверки. На следующее утро он не выпускал его из вида. Он не мог забыть его вчерашней улыбки. Он подошел к Гренаде, когда тот стоял у решетки углового окна: оттуда был виден еще один отрезок стены, серый и

совершенно подобный остальным.

— Не думаете ли вы, что побег отсюда возможен? — спросил Тарт, останавливаясь рядом с ним.

Гренада оглядел его, бегло и с неудовольствием, и ничего не ответил. Тарт подождал и заговорил еще раз.

— Почему вы не отвечаете?

— Здесь не принято задавать такие вопросы, — сказал Гренада, — и совсем не в моде отвечать на них.

— Почему?

— Среди нас есть шпионы. Стоит шпиону донести, что кто-нибудь задумал побег, и этому человеку обеспечен ночной вызов раньше времени. Только шпионы интересуются здесь тем, что другие думают о побегах.

— Я не шпион...

— Возможно. Но самое лучшее будет, если вы к каждому человеку будете относиться как к шпиону: так же как я сейчас отношусь к вам. Я с вами откровенен, потому что у меня нет выбора. Я рассуждаю так: шпион заговорил со мной — я пропал. Если я скажу ему правду, он донесет, если я промолчу, он поймет, что я разгадал его, и тоже донесет...

Он помолчал и отошел, оставив Тарта одного. Тарт не был обижен, но испытал досаду. Он подумал о колесе. Через шесть дней колесо должно было пройти вблизи Палермо. Если побег из крепости был возможен, то лучше всего было воспользоваться паникой, которую должно было вызвать колесо. Люди, заключенные в крепостях, годами подготавливают побеги; в его распоряжении было несколько дней, между тем он еще не имел никакого плана, а единственный человек, который как будто до чего-то додумался, тратит время на подозрения и церемонии.

Он заглянул в окно в том направлении, куда смотрел Гренада, чтобы самому разгадать, в чем была причина его непонятной бодрости. Он увидел ров, с травой и кустарником на дне, и противоположную стену, отвесную, высокую, выложенную серым камнем. Эту картину он уже видел не раз, и в ней не было ничего ободряющего.

Правда, вдоль стены, ближе к ее основанию, через равные промежутки шли какие-то узкие горизонтальные отверстия. Странно, что до сих пор он не замечал их. Их впадины были темнее остального фона, но только сейчас, при сосредоточенном желании непременно увидеть что-нибудь на серой стене, он обратил на них внимание.

Не эти ли четырехугольники вдохновляли Гренаду? Не думал ли он, что через них можно куда-нибудь пролезть? Не всякая кошка могла бы пролезть через них — до такой степени они были узки. Да и пролезть — куда? В какой-нибудь каменный мешок, без окон и выхода, через ров, в который тоже никак нельзя попасть.

И тем не менее отверстия служили для какой-то цели. Они предназначались не для того, чтоб в них лазали люди, но свет и воздух мог проникать через них. Это значило, что они давнего происхождения, от тех времен, когда свет и воздух добывались примитивными способами. Может быть, там были старые казематы, теперь замурованные, застенки, о которых не сохранилось памяти. Стоило ли гадать об этом, раз туда все равно нельзя было попасть?

Тарт не стал ломать голову над тем, что ему было не под силу, и занялся шпионами, о которых говорил Гренада. Эта сторона дела была так же важна, как и самый план побега. В чем бы ни заключался план будущего побега, нельзя было приступать к делу, не проверив людской состав камеры. Проверка требовалась быстрая и безошибочная.

В камере было два десятка заключенных. Немногие из них знали друг друга до тюрьмы. Этих людей отличала простота и краткость в разговорах между собой и сдержанность по отношению к остальным. Тарт насчитал семерых заключенных, связанных этой общей близостью. Вместе с ним и Гренадой это составляло девять надежных товарищей — менее половины камеры.

О другой половине можно было думать что угодно. Был один сумбурный крикливый человек, по-видимому, сумасшедший, державшийся вызывающе с тюремщиками. Его волосы отросли, он ждал вызова наружу и говорил, что не может вынести ожидания.

— Расстреляйте меня! — просил он при всяких случаях.
— Я не желаю терпеть...

Однажды он подошел к решетке и начал дразнить часового за рвом. Он подставлял свою грудь под выстрел и остался жив только потому, что часовой промахнулся, и пуля, пролетев около него, убила другого заключенного, стоявшего в отдалении.

В противоположность ему, другой арестант отличался раболепием. Ему случалось глядеть на тюремщиков с заискивающей улыбкой, просить о лишней миске супа, стоять перед ними навтыжку, хотя от людей, ожидавших смерти, такой почтительности не требовалось. Он не скрывал или старался уверить других, что находится среди политических по недоразумению, ибо по профессии был взломщиком и много лет провел в уголовной тюрьме. По-видимому, там он и приобрел свои почтительные привычки.

Был седой однорукий человек, рассказывавший, что другую руку он потерял во время восстания, за несколько лет перед этим. Он путал дату этого события в разговоре с другими участниками восстания. Кроме того, Тарт заметил, что однажды во время ночного вызова, когда вся камера была в тревоге, этот человек вел себя не так как все. Он проснулся, прислушался и снова спокойно уснул: по-видимому смерть ему не угрожала.

Был еще человек излишне разговорчивый. Он выкладывал свою биографию и желал слушать чужую. Он был участником маленькой террористической группы, все члены которой были уже переловлены. Поэтому он позволял себе быть откровенным, а это невольно вызывало на откровенность и его собеседников, принадлежавших к организациям иного типа, в которых не все члены были переловлены.

Двойственное впечатление производил также один бывший певец. Он, как и все, останавливался около окон, считал часовых за рвом и мерил его глубину, но другие делали это невзначай, с голодной цепкостью в глазах, а он смотрел в ров подолгу, имел любознательный вид и шепотом, шевеля губами, множил число часовых на данном секторе на все число секторов. Он или не подозревал о присутст-

вии шпионов в камере или имел причины не бояться их.

С ним происходило превращение, когда он начинал петь. Тогда сомнения в его искренности исчезали. Кое-кому его репертуар не нравился, ибо он пел о веревке в доме повешенного, но другие слушали его с волнением. Это были обычные тюремные темы: решетка, облака в небе, ветер с полей, побег. Он знал много мотивов из песен и старых опер и к ним сам подбирал слова. Он был импровизатор.

Однажды, после непогоды, яркий солнечный луч упал сквозь решетку и вывел арестантов из дремоты. Он был красив, но люди в камере не обрадовались ему и отвернулись от него, как от досадного напоминания. Певец оглядел лица, угадывая настроение. Он был театрален. Он стал у окна лицом к зрителям так, чтобы решетка и солнце были для него декорацией, и, с жестом в их сторону, запел:

Вот в полдень из-за туч
Бросает солнце яркий луч.
Но чтоб лучу до нас достать,
Решетку надо миновать.

И вот: бледнеет свет,
Он потускнел, в нем жизни нет,
И в сердце пленника порой
Он бьет отравленной стрелой.

Ах, в сердце пленника порой
Он бьет отравленной стрелой.

Он высказал в словах мысль, которую каждый неясно сознавал, и имел успех, выразившийся в том, что после его пения люди стали еще угрюмее. Его стих был неглазок, но мелодия и голос, которым он хорошо владел, делали их лучше.

В камере было тесно. Места на койках занимались в порядке прибытия. Тарт лежал на полу на соломе. Он был последним, и ему досталось самое холодное место — на цементном квадрате посреди камеры. Квадрат этот от-

личался цветом от остального пола, выложенного кирпичом. Тарт, просыпаясь от холода, иногда раздумывал, что означал этот квадрат и почему он приходился как раз посреди камеры? Холод он объяснял свойствами цемента.

Его соседом в первые дни был однорукий старик. Потом освободилось место на койке, и старик перебрался туда. Тарт мог передвинуться с цементного квадрата на его место, но когда он перестилал солому, он услышал около себя шепот:

— Оставайтесь на старом месте. Закройте квадрат соломой. Я лягу вместо однорукого.

Это был Гренада. Он говорил в тоне приказа. Тарт отодвинулся на старое место. Гренада устроился рядом, и хотя он сейчас же отвернулся и закрыл глаза, Тарт понял, что они теперь союзники.

Утром он шепнул Гренаде:

— Вы знаете, что до прохода колеса осталось только два дня?

Гренада, не разжимая губ, ответил:

— Знаю. Все в порядке. Не разговаривайте со мной. Не смотрите в окна. Следите за людьми. Ищите шпиона...

15. ВЫХОДНАЯ ДВЕРЬ

Наступил шестой день, последний перед колесом, — а дело оставалось на прежней точке. Гренада молчал и отворачивался, если видел, что Тарт хочет с ним заговорить. Он был спокоен, и это значило, что какой-то план побега у него существует. Другой вопрос: что это был за план? Люди в подземельях годами долбят стены, подготавливая побег, а он как будто собирался выполнить всю работу в полчаса. Не был ли его план обычной бредовой идеей, которым подвержены заключенные, а его спокойствие — блаженным состоянием, когда человека уже нельзя переубедить.

Однако, Гренада не только ходил из угла в угол, ожидая чудес. Он работал для побега, и Тарт это видел. Гренада искал шпионов. Они оба кружили около одних и тех же людей. Гренада смягчил свой неласковый взгляд, общаривая им людей, симулировал дружелюбие и хорошее настроение. По-видимому, он испытывал те же сомнения, что и Тарт. Шпионы были ему неизвестны.

Между тем предстояло вынести приговор строгий и безошибочный. Ошибка в ту или другую сторону была бы или ненужной жестокостью или гибелью для дела. Они должны были судить, не опрашивая подсудимых, не давая им понять, что их судят, основываясь лишь на чутье, недо молвках, кривых улыбках. В обстановке, где все, боясь шпионов, кривили друг с другом, ошибки были неизбежны.

Колесо облегчило им их задачу. Последний пришедший с воли арестант рассказал о панике, охватившей город. Колесо ожидалось на следующее утро. Его зона была точно вычислена и проходила в трех километрах к югу от города, но жители не верили точным вычислениям и массами выбирались на север.

Крепость целиком лежала в зоне разрушения. Местность около нее очищалась принудительным порядком. Арестант встретил по дороге десятки грузовиков с имуще-

ством. Такие же грузовики с имуществом тюремщиков он встретил в воротах крепости.

Людам в камере не надо было объяснять, что такое колесо. Все они были недавно с воли и имели о нем понятие. Но лишь немногие предполагали, что им придется столкнуться с ним вплотную.

— Нас эвакуируют, — предполагали одни. — Они могли бы перебить нас всех и без колеса. И если они нас до сих пор щадили, это значит, что мы им для чего-то нужны.

— Нас оставят погибать вместе с крепостью, — говорили другие. — Прекрасный повод отделаться от всех нас сразу.

Гренада и Тарт могли сделать во время этих разговоров ценные наблюдения. Однорукий старик допускал обе перспективы, но был спокоен. Раболепный — лишний раз вспомнил, что он по недоразумению попал к политическим и было бы лучше, если б он сидел среди уголовных. Певец покусывал губы и был озабочен. Грядущая общая гибель могла бы вдохновить его на новую импровизацию, но сейчас ему было не до песен. Террорист предлагал немедленный бунт, но не был поддержан большинством, которое решило ждать событий.

Странно, что помешанный арестант, просивший у тюремщиков смерти, совсем не был обрадован, когда узнал, что его желание будет скоро выполнено. Колесо было для него неожиданностью, которая скорее пугала его. В этот день он ни разу не стонал и не просил, чтобы его убили, но лежал, присмирив, и с беспокойством на лице прислушивался к разговорам.

Он успокоился только к вечеру, когда судьба заключенных выяснилась окончательно. На вечерней поверке его и еще двоих арестантов вызвали из строя и поставили отдельно, и так как все трое обрадовались, было ясно, что их вызвали не для расстрела. Вторым в этой шеренге был певец, третьим — один малозаметный арестант, из тех, для кого Тарт в решительный момент считал достаточными веревку и кляп в рот.

Это были шпионы, которых тюремщики хотели сохранить. Певец избегал смотреть людям в глаза, но помешанный с удовольствием следил за впечатлением, которое он произвел. Он был в здравом уме, и этот ум никогда не оставлял его, особенно в тот момент, когда, по уговору с канцелярией, он становился к окну и кричал свои проклятия.

Старик, забывший дату восстания, и взломщик, испорченный тюремной муштрой, стояли вместе со всеми, и старик смотрел перед собой с тем же безразличием, с каким ночью просыпался при вызовах на расстрел.

Тарт смотрел, как слетали с людей маски, и думал об ошибках, которые были бы совершены, если б колесо одним ударом не сделало тайное явным.

Шпионов увели, во дворе к ним присоединились такие же группы шпионов из других камер, а вслед за их отрядом в ворота вышли и сами тюремщики, вся внутренняя стража и остальное свободное население крепости. Все двери были заперты. Ночная смена часовых за рвом явилась, приведя с собой мотоциклы: они должны были охранять крепость до последнего момента, чтобы затем бежать из зоны разрушения.

Тюрьма была предоставлена самой себе. Она могла сколько угодно бурлить и отчаиваться внутри запертых стен, в ограде кольца, рва и часовых. Это были четыре мышеловки, поставленные одна в другую, но людям казалось, что они чего-нибудь добьются, если начнут ломать двери. Им удалось вырваться из камер в коридор и начать штурм выходной двери. Но проникнуть во двор им не удалось, ибо и самая маленькая из мышеловок оказалась захлопнутой так крепко, что даже людям, охваченным паникой, стало ясно их бессилие. Другие работали у окон, выламывая под выстрелами часовых железные прутья, и также должны были отступить, оставив у окон убитых.

Штурм был отбит, но никто не хотел возвращаться в камеры. Арестанты толпились в коридоре. Ораторы говорили все сразу. Были ораторы, уверявшие, что еще не все потеряно: дверь будет взломана, если не силой, то искусством. Подача тока в кольцо благодаря колесу в известный

момент должна будет прекратиться. А если этого не случится, среди заключенных найдутся специалисты, которые сумеют испортить кольцо. Кроме того, возможны переговоры с часовыми. Их настроение неизвестно и может повернуться в сторону заключенных.

Тарт обошел толпу, разыскивая Гренаду. В толпе его не было. Он заглянул в камеру. Там было пусто и темно, но из угла шел лязг ломаемого железа. Он нашел там Гренаду, занятого выламыванием ножек у железной кровати. Гренада был единственным, кто все время оставался в камере.

— Я потушил свет, чтобы часовой не увидел ничего через окно, — сказал Гренада, показывая Тарту, где взяться за кровать с другой стороны. — А шум его не должен смущать. Сегодня здесь было достаточно шума.

Тарт взвесил в руке выломанную ножку. Она была не тяжела.

— Вы думаете, этой штукой можно взломать выходную дверь? — спросил он с сомнением.

Гренада молчал, собирая куски железа.

— Я и не собираюсь ее взламывать, — ответил он потом с усмешкой, которой Тарт не понял.

— Но как же нам тогда попасть во двор? Как подобраться к кольцу?

— О кольце я тоже не беспокоюсь...

Гренада бросил железо на пол около того места, где спал Тарт, стал на колени, раздвинул солому и показал на цементный квадрат.

— Вот наша выходная дверь. Вы спали на ней и жаловались на холод. Между тем, холод обозначал, что под ней пустота и спуск в подземелье. Нет надобности выламывать ее целиком, достаточно отколоть угол на среднюю человеческую толщину.

Ножка от кровати, тупая и хрупкая, мало годилась для ломки цемента, но, передвигая ее вдоль шва, где цемент сходил с кирпичом, и ударяя сверху камнем, можно было по кусочкам пробиваться вглубь.

Гренада работал нетерпеливо, страдая от медленности работы, забыв, что рядом с ним Тарт, которому следовало

бы объяснить подробности. Но Тарт, казалось, и не нуждался в них. Он бил по цементу, оглушая себя лязгом, плохо понимая, что он делает, но уже чувствуя в теле силу, мгновенно явившуюся от прикосновения к реальной почве.

— Я когда-то изучал военное дело, — сказал Гренада во время паузы. — Я проходил фортификацию и видал в учебниках чертежи старых крепостей. Они приводились там как курьезы, на них не задерживались, но они остались у меня в памяти. Когда я пришел сюда, мне также показали на тройную цепь: кольца, ров, часовые. Мне они показались убедительными, но случайно я взглянул вдоль рва и заметил одну мелочь, которая напомнила мне старый чертеж. Обратили ли вы внимание, что в облицовке рва есть отверстия?

— Я заметил их только потому, что вы смотрели на них, — признался Тарт. — Но я не мог понять, что они означают.

— Они означают, что там идет подземная галерея. Сначала по внутренней стороне рва, потом по наружной, а для сообщения между ними должен быть ход подо рвом. Эти галереи одинаковы во всех чертежах. Спускались туда из самой нижней камеры в центре крепости — именно там, где мы сейчас находимся. Недаром здесь весь пол кирпичный, а посередине — цементный квадрат. Я не удивлюсь, если под ним окажется винтовая лестница. Галереи устроены для сообщения с пороховым колодцем. Туда ведет особый ход в сторону, не менее чем в двести метров длиной, ибо порох хранился в отдалении от крепости. Предположите, что мы добрались до этого кольца и прокопались вверх до уровня земли — где мы окажемся?

— В двухстах метрах позади линии часовых.

— И значит, тройная цепь: кольцо, ров, часовые — останутся в дураках. Цементный квадрат здесь и три метра земли над колодцем — вот все, что отделяет нас от свободы...

План был прост и совершенно реален. Гренада говорил о нем без хвастливости, точно все дело было в старом чертеже, который вовремя пришел ему на память. Для Тарта простота была лучшим доказательством силы.

— Неужели все-таки наши тюремщики не догадываются о существовании галерей? — спросил он, отыскивая в плане слабые места. — Наверное они знают о них и приняли меры...

— Не думаю, — ответил Гренада. — Крепость отдана под тюрьму три года тому назад. До этого здесь были казармы, а солдатам нет надобности бегать через подземные ходы. Цементному квадрату полсотни лет. Тюремщики пришли на готовое, устроили кольцо, и этим ограничились. Когда они говорят о побеге, они смотрят вверх. Они подразумевают: полеты по воздуху, радиосвязь, штурм кольца. Вспомните, с каким самодовольством они говорят о своем тройном кольце.

Выбоина в углу квадрата делалась все больше. Последние куски цемента упали вниз, звякнув о металл. Тарт, как более легкий, первый опустился в дыру. Он долго висел, раскачиваясь на руках, пока, изогнувшись, не нащупал ногами опору. Это была площадка винтовой лестницы. Гренада вызвал его наверх и сам пошел на разведку, сказав Тарту сидеть у дыры и до его возвращения никому не говорить о подземных галереях.

Шаги Гренады, ощупью двигавшегося через подземелье, молчавшее десятки лет, обрастали гулом и шорохами. Потом шаги смолкли. Долгое время Тарт не мог уловить ни звука и решил, что Гренада уже перешел ров. Но затем удар железом по железу донесся до него и показал, что Гренада ушел недалеко. Вслед затем Гренада вернулся, грязный, с бледным лицом. Он был измучен темнотой и одиночеством, и по его глазам Тарт понял, что он встретил затруднения.

Чертеж из старого учебника не предусматривал двери, которая закрывала ход подо рвом. Лязг железа означал, что Гренада пытался силой открыть ее, но должен был отступить, ибо для этого требовались инструменты и сноровка. Такая же дверь могла быть и по другую сторону рва.

Тарт вспомнил о рабелепном арестанте, который не раз говорил, что по профессии он — взломщик. Он нашел его в коридоре около оратора, призывавшего идти напролом. Он

был хорошо заряжен и поддерживал самые крайние мнения оратора, хоть и стоял перед ним навтыжку. Не оставалось сомнений, что он обладал геройской натурой, но сильно пострадал от тюремной муштры. Тарт привел его к дыре. Гренада сунул ему в руки охапку железа и повел за собой вниз.

Он полез в дыру, заинтересованный, с вопросом в глазах, ответ на который получил лишь после того, как взломав обе двери, вылез наружу. К чести его, узнав сущность плана, он заговорил не о своем освобождении, но об общем бегстве всех заключенных. Тарт убедил его молчать, пока Гренада не вернется из второй разведки.

Новых затруднений Гренада не встретил. Старый чертеж оказался правильным. Гренада побывал в пороховом колодце и насчитал триста шагов, выводящих колодец за линию часовых. Три метра земли над головой он оставил нетронутыми, чтобы обрушить их общими силами.

Требовалось подготовить людей к свободе. Речи и крики в коридоре продолжались. Было бы неосторожно сразу прекращать их, чтобы перемена настроения не вызвала подозрений у часовых за рвом. Для первого случая к дыре были созваны три десятка людей, которых Гренада расставил часовыми вдоль всего подземелья. Он показал крайним из них, где надо копать землю, и вернулся за новой партией заключенных. Толпа в коридорах постепенно редела, свет выключался, ораторы умолкали. Тарту пришлось кое-кого придержать, чтобы переход к тишине был не слишком резким.

В галереи вдоль рва через узкие отверстия в стенах проникал свет наружных фонарей, но в длинном ходе к колодцу было совершенно темно. Человек здесь шел на голос, от часового к часовому, спотыкаясь о препятствия, которые быть может заставили бы его бежать без оглядки, если бы он увидел, обо что он спотыкается.

Не все понимали, куда и зачем они идут, но некогда было объяснять им подробности. Последний часовой ставил заключенного под земляной купол, и там сквозь дыру вверх он видел небо. Вокруг него обвязывалась веревка,

чьи-то руки вытаскивали его наверх. Товарищ жестом показывал направление, в котором он должен был идти. Он оглядывался назад и при свете фонарей видел вдали между деревьями часовых, неподвижно стоявших лицом к крепости. Он встряхивался и исчезал в противоположную сторону.

Местность вокруг крепости была уже брошена жителями, увезшими и свое имущество. Но в их домах можно было найти немало хлама и старой одежды, оставленной на разгром. Беглецы могли здесь переодеться, чтобы продолжать путь беспрепятственно.

Тарт и Гренада, последними вышедшие на свободу, нашли в домах лишь очень скудную и старомодную одежду, которая не пригодилась другим заключенным. Рассвет застал их на холме, откуда была видна все местность вокруг крепости. Предполагаемая зона разрушения была очищена совершенно. Ни одной повозки, ни одного пешехода не было видно на несколько километров вокруг. И только на валах у самой крепости они увидели какое-то движение. Происходила смена часовых. Сменившийся караул свернулся и уехал, новый занял его место.

Все было в порядке: крепость охранялась.

16. РАССТОЯНИЕ НАИЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ

Анна покинула Клифтон, потому что ее хозяйство перестало оправдывать себя. Голод смягчился, и электрическая проволока снова стала дороже картошки, которую она должна была охранять.

Перед тем как заколотить окна в доме, Анна в последний раз отперла кабинет отца. В комнате пахло пылью и крысами. Большой исчерченный глобус и черный плоский футляр стояли на своих местах. Лист блокнота, последняя написанная Даррелем страница — лежала на столе сверху. Строчка букв и цифр едва проступала на ней из-под слоя пыли.

У Эревона Анна переехала через пролив и вышла на прямую дорогу в Лондон. От Сонгора ее спутником был Брисбен, немолодой человек с медной паяльной лампой у пояса и первобытным тиглем, выпиравшим из мешка за спиной. Он обладал простонародной внешностью и по дороге кормился лудильной работой.

Они шли пешком. Этот способ путешествия был для них единственно доступным, хотя рядом ходили поезда с наполовину пустыми вагонами. Лондон и южная Англия были в руках реакции, в стране соблюдались старые законы. Блокада кончилась, и тысячи бывших лондонских жителей направлялись назад, чтобы жить на привычных местах.

Пешеходами владела торопливость. Они спешили, словно все дело у них заключалось в том, чтобы пройти как можно больше километров. Иногда, заражаясь общей торопливостью, Анна также начинала спешить. Брисбен удерживал ее.

— Нам некуда торопиться, — говорил он, — и незачем обгонять других. Нам всем хватит места на большой дороге. Те, кто торопится, сами не знают, куда они бегут. Они бегут от самих себя. Спешка мешает им до конца продумать свое положение. Два месяца назад каждый из нас считал

своим правом ездить в поездах. Сейчас мы пропускаем пустые поезда и молчим. Мы присмирели. Но если б мы хорошенько подумали, отчего это произошло, у нас может быть снова хватило бы смелости ездить в поездах.

Некоторые из пешеходов вели с собой детей, и если на остановках семье случалось есть из одной миски, Анна видела, каких усилий стоило отцу сдерживаться, чтобы не очень обгонять детей.

— И все-таки они объедают их, — сказала она однажды Брисбену. — Дети остаются голодными...

— Отец должен есть, потому что он добывает деньги, — ответил Брисбен. — Если у него не будет сил зарабатывать, дети останутся и без того, что у них есть. Он не может не объедать детей...

В детстве Анна путешествовала с отцом, не заботясь о расстояниях. Дым из труб закрывал от нее города. Теперь она видела, какими печальными были эти города, если смотреть на них с земли, проходя их пешком из улицы в улицу, глазами усталого человека.. Это было расстояние наилучшего зрения, и с этого расстояния придавленность на людских лицах была видна отчетливо.

В Глендвиче, за несколько остановок до Лондона, к ним присоединился Скруб, швед, всесветный пешеход. Скруб считал нужным известить Лондон о своем прибытии. Из Глендвича он послал в лондонское географическое общество и газетное бюро сведения о себе и свои портреты. Он точно назначил время, когда его можно будет ждать у заставы в Лигете, чтобы сотрудники газет и научные делегации не ждали его попусту в другом месте.

Но хотя Скруб был единственным из всей массы пешеходов, кто обставлял торжественностью свое прибытие в Лондон, на самом деле он был негордым человеком и обладал скорее простодушным характером.

Он тронулся в путь семь лет тому назад и добросовестно обошел мир, досадуя на океаны, из-за которых полный пешеходный круг вокруг света был невозможен. В его документе стояло, что он путешествует с научно-этнографической целью, и в Стокгольме от него ждали коллекций

и материалов, но он возвращался с пустыми руками. В его мешке была лишь книга с отметками на всех языках от властей тех мест, через которые он проходил. После Лондона ему оставался небольшой кусок до Стокгольма, где он собирался вручить эту книгу академии.

При нем был также походный сапожный инструмент, и он вызвался починить обувь Анны, истрепавшуюся и сползавшую у ней с ног. Он проверил походку Анны и нашел у ней дефект в постановке ноги, из-за которого левая подошва под большим пальцем протиралась у ней скорее, чем все остальное.

Он так долго и с такими подробностями распространялся на эту тему, что Брисбену его ломаная речь успела надоест.

— Ваше увлечение этим вопросом понятно, — сказал он. — Но мы все-таки думали, что у человека, обошедшего девять десятых земного шара, есть и другие темы для разговора. От путешествия у вас должно остаться много впечатлений.

— От путешествия у меня осталось одно сильное впечатление, — засмеялся Скруб, — и оно поглотило все остальное: земля — шар! Если найдутся люди, сомневающиеся в этом, посылайте их ко мне.

Он произнес эту старую истину с странным выражением. Он как бы ставил на ней свой штамп. И так как он был достоверным свидетелем, старая истина с его штампом ожила и снова получила хождение.

Его книга излагала его жизнь. Он показал ее Брисбену и Анне. Она сплошь состояла из отметок с датами и штемпелями. Когда его просили рассказать, что соответствует в натуре какой-либо из этих отметок, он редко вспоминал что-нибудь интересное, и большую часть книги перелистывал без слов, торопясь, с высокомерием бродяги, которого скука пройденных им мест не касается.

Кроме книги, у него еще были три тетради мемуаров. Это была эссенция, выжатая из толстой книги за семь лет. Но тетрадей он не показал спутникам.

— Вы неразговорчивы, — заметил ему Брисбен, улыбаясь. — Другой на вашем месте рассказал бы больше...

— Я путешественник, — ответил Скруб. — Не мое дело разговаривать. Но меня удивляет, что и вы тоже не слишком много разговариваете, несмотря на профессию лудильщика. Лудильщик должен уметь смеяться, рассказывать сказки, не пропускать встречных без разговора, расспрашивать их о работе, сворачивать на проселки. А вы все молчите и идете напрямиком. Удивляюсь, если вы вообще что-нибудь зарабатываете. Должно быть, это не ваша постоянная профессия?

Спускаясь с Эшемского холма, они увидели огни северного Лондона. Скупые огни чередовались с провалами полной черноты. Черные полосы шли через весь город до самого края. Соотношение света и темноты показывало, как мало еще был заселен город.

Около Лигета Скруб начал беспокоиться. Многие встречные люди, стоявшие без дела, казались ему интервьюерами, вышедшими ему навстречу. Толпа у продуктовой лавки представилась ему делегацией научного общества. Он надел на рукав повязку, с обозначением своего имени. Он подсовывал ее людям под нос, он в упор спрашивал их:

— Вы ждете всесветного пешехода Скруба?

Но по-видимому никаких делегаций не было выслано ему навстречу. Люди отнекивались и пропускали его мимо.

— Странно, — удивлялся Скруб. — В других столицах меня встречали иначе...

Он был опечален. Плохая встреча означала, что и в дальнейшем его дела пойдут не лучше

— Географическое общество еще не собралось после разгрома, — утешала его Анна. — А газетам сейчас не до вас. Завтра все выяснится.

Сразу за Лигетом начинались кварталы развалин, зараженные, обвитые проволокой. Улица местами превращалась в тропинку, проложенную среди развалин. Эти тропинки связывали населенные районы. Значение районов и их населенность были другими, чем прежде. На площади, знаменитой когда-то огромным количеством моторов и

людей, пропускаемых в минуту, они увидели любителя-велосипедиста, который упражнялся в езде и вилял рулем. Никто не мешал ему.

У Брисбена был адрес для поселения на первое время: Риверсайд, меблированный дом «Шарлотта». Поздно вечером они пришли в Риверсайд. Скруб был с ними.

17. БЕЗ ПСИХОЛОГИИ

Третьим в списке Тарта был Синтроп. Он жил в Оклахоме, в Америке.

Колесо, разрушив Сицилию и африканское побережье, вышло в Атлантический океан. Эскадра аэропланов летела впереди водяного столба, как вестник колеса, эскадра исследователей летела сзади. Здесь были географы и гидрографы, по высоте столба определявшие глубину океана, зоологи, подбиравшие всплывавшую на поверхность рыбу, ботаники, химики. Колесо давало материал для многих наблюдений.

Это был также единственный удобный способ для того, чтобы попасть в недоступную Америку. Тарт решил не пропускать случая. Паника, вызываемая колесом на его пути, должна была ему помочь. Он догнал эскадру у Гибралтара, был взят на аэроплан, как запасной механик, прошел беспрепятственно заградительную линию и на американском берегу, на равнине у Пассаквеколли, спустился, чтобы продолжать путь на Оклахому по железной дороге.

Он был утомлен перелетом и, очутившись на твердой почве, прежде всего отыскал место для ночлега. Дождь, обильно выпавший в этих местах после прохода колеса, загнал его под копну снопов, оставленных на поле. Засыпая, он слышал удаляющийся гул колеса и видел на небе вспышки от его разрывов.

Он проснулся на рассвете от чужого тяжеловесного прикосновения. Его ноги во время сна высунулись из-под снопов, и кто-то стоявший снаружи будил его, ударяя носком сапога по его подошве.

— Оставь его, Деб, — сказал сильный голос с другого бока копны. — Пусть спит. Какое нам дело?

— Надо разбудить, — возразил Деб, продолжая тревожить Тарта. — Будет жаль, если парень проспит самое горячее время.

Тарт лежал, не отзываясь и ожидая дальнейшего.

— Не трать времени, Деб, — снова сказал сиплый голос. — Тряхнем его за обе ноги сразу, и если он не умер, он встанет...

— Давай, Крез, — предложил Деб, — тряхнем его вдвоем.

Оба голоса слышались теперь рядом и притом невысоко от земли. По-видимому обладатели их уже нагнулись, чтобы приступить к встряхиванию.

— Обрати внимание на его ботинки, — просипел Крез. — Очень странная вещь, что у него такие ботинки.

Он был чем-то удивлен и, судя по голосу, снова разогнулся и отступил на шаг.

— Не нахожу в них ничего особенного, — отозвался Деб, тоже выпрямляясь. — Машинная работа, свиной носок, двойная подошва ...

— А я именно говорю, что в них очень много особенного. Можешь мне поверить, потому что я за свою молодость перечистил немало ботинок.

— В молодости и мне также случалось чистить ботинки, — засмеялся Деб. — Но только теперь я этим не очень горжусь.

— Это оттого, что ты был пачкун, — возмутился Крез. — Ты думал только о том, чтобы сорвать с человека побольше денег. А я в это время по его ботинкам изучал его характер. И я умел это делать. По-моему, если хочешь понять человека как следует, самое лучшее — вычисти ему ботинки. Он поставит ногу на твой ящик, и его фалды и карманы повиснут над тобой, как перед жандармом на обыске. Пальцы на его ногах — клавиши, на которых ты играешь веселое или печальное, и в такт тебе он начинает мотать башкой. По фасону носка, ты узнаешь — тщеславен он или нет. Ты слышишь его запах, видишь, как пришиты его пуговицы, и имеешь представление о его семейной жизни. Продержи его лишнюю минуту, и ты узнаешь его темперамент, ты даже заранее будешь знать, что именно он заорет, когда убедится, что часы из его кармана исчезли ...

— Неплохой метод для начинающих, — сказал Деб. — Но какое он имеет отношение к типу, который лежит под соломой? Не думаешь ли ты, что и ему тоже надо почистить

ботинки?

— В этом нет надобности, — ответил Крез, не теряя серьезности. — Но если я натыкаюсь на загадку, я должен ее разгадать. Потому что фасон его ботинок совершенно устаревший. Я уже десять лет не встречал его нигде и думаю, что в Америке его давно не вырабатывают. Каким образом мог он сохранить их до сих пор? Кто он? Откуда он явился? Как он смеет разгуливать по Америке в таких ботинках? Если ты, Деб, умеешь по отдельным признакам угадывать людей, если ты не просто взломщик с фонарем и отмычкой, но хоть немного понимаешь и людскую психологию, — постарайся ответить мне на этот вопрос. Подумай и отвечай.

— Опять психология, — засмеялся Деб. — Нельзя ли без нее? Я замечаю, что как только в наши дела замешается психология, у нас ничего не выходит. Если ты хочешь узнать, кто этот человек, давай толкнем его как следует, и он встанет перед нами во всей красе...

— Нет, нет, — остановил его Крез. — Догадайся сам. Кто он, по-твоему?

— Какой-нибудь здешний старичок, — предположил Деб. — Старички нарочно заказывают старые фасоны. Стряхни солому с его образины, и ты увидишь седую щетину и черный галстук.

— У стариков поджатые коленки, — сказал Крез. — Он не старик.

— Ну, значит, он нищий, и какой-нибудь скаред осчастливил его ботинками.

— Тоже неверно. Нищие следят за модой. Нищий возьмет такие ботинки и поблагодарит, но отнесет их в канаву. По-моему, этот человек надел их недобровольно. Какая-нибудь любовная история: его застали врасплох, он выскочил в одном белье, и уже потом, в чьем-нибудь доме, согласился надеть этот хлам, чтобы прикрыться для первого случая.

— Тоже неверно, — сказал Деб. — Какая может быть любовь в двух шагах от колеса?

Оставалось разбудить Тарта и выяснить, в чем у него дело. Деб и Крез со смехом и предосторожностями нагнулись над ним, но Тарт, предупреждая встряску, раздвинул руками снопы и вскочил на ноги. Друзья отступили. Перед ними, в позе ожидания, стоял смуглый человек, с прямым профилем и свежими щеками, со следами копоты на лице и на руках, странно и не по росту одетый. По его одежде можно было думать, что он мирно сидел у себя дома в неизвестной стране и вышел на минуту за папиросами, но тут какой-то вихрь подхватил его, запыхлил и задымил, занес в такие места, куда он вовсе не собирался и где ему остается только молчать, озираться и ждать продолжения.

— С добрым утром, — сказал Крез, прищуриваясь. — Мы позволили себе разбудить вас...

— Мы думали, что вы тоже направляетесь в Пассакве-колли, — прибавил Деб, — и боялись, что вы проспите.

Тарт ответил не сразу. Он понимал, что говорили ему друзья, но робел перед тем, как самому заговорить на их языке. Его первые фразы привели друзей в веселое настроение. Он говорил как по книге, с боем и с запятыми. Он старался произносить правильно, и для этого перед каждым словом откидывал челюсть, налаживал язык и губы и только тогда давал звук.

Деб смотрел ему в рот, искренне веселясь, а Крез, послушав его, убедился, что перед ним иностранец, герой переводного романа, и что его ботинки неамериканского происхождения.

— Вы из Европы? — спросил он. — Когда вы приехали? На чем?

Крез был психолог, любитель доходить до корня, и чтобы избежать волокиты, Тарт сразу рассказал ему свою историю, начиная с крепости, умолчав лишь, за какие преступления он туда попал. Первые люди, встреченные им на американской почве, годились для того, чтобы быть с ними откровенным. Он считал это удачей.

Деб слушал, поглядывая на Креза и как бы спрашивая, стоит ли верить странному человеку, но тот как будто находит историю в порядке. Его догадки кое в чем подтвер-

дились: любовного приключения не было, но бегство в одном белье и поиски в чужих домах были, и он не забыл напомнить об этом Дебу.

— Так или иначе, — сказал он Тарту, — вам надо достать другое платье. Вас арестуют только за то, что вы одеты не так как все. Идемте с нами. У нас в Пассаквеколли дело в этом же роде.

Тарт, не спрашивая; двинулся за друзьями. Он шел с пустыми руками. Деб и Крез тащили по ручному чемодану. Рассветало, когда они подошли к городу.

Город был задет колесом лишь в южной части. От южных кварталов не осталось ни зданий, ни развалин от зданий. Все было размолото колесом и засыпано выброшенной им землей. Вода, хлынувшая из океана, входила в берега, намечая будущий канал. Чем дальше от канала, тем больше оставалось неповрежденных зданий, но их фасады, обращенные к каналу, были во всю высоту залеплены пеплом и грязью. Северные кварталы стояли нетронутые. Они были совершенно пустынные. Трое приятелей, шагавших по тротуарам, составляли все население города, не считая немногих собак, которые или не уходили из города, или вернулись туда раньше людей.

Крез был неточен, когда говорил, что цель их раннего путешествия в Пассаквеколли была так же невинна, как и у Тарта. Деб и Крез не нуждались в платье и искали другой добычи. С рассветом должно было начаться возвращение жителей в брошенный город, и прежде других следовало ожидать появления полиции. До этого времени они могли делать в городе все что угодно. Они не тратили сил на случайные поиски и равнодушно проходили мимо домов с вывесками «банк», где для них ничего не было оставлено, но торопились по одному точно определенному адресу.

Вечером предыдущего дня, в разгар эвакуации, на станции в двадцати километрах от Пассаквеколли внезапно умер один джентльмен. Он был немолод, измучен и очень взволнован тем, что не успел покончить своих дел в Пассаквеколли. Дорога была забита встречными грузовиками, и если бы даже он нашел свободную машину, нельзя было

рассчитывать, что за сорок пять минут, оставшиеся до прохода колеса, он успеет пробиться в город и выскочить назад. Он искал аэроплан и предлагал любую сумму. Он умер от разрыва сердца во время переговоров об этом.

Его смерть в сутолоке прошла незамеченной. Трупом завладела полиция. Деб и Крез прозевали момент смерти и, хотя они участвовали в перенесении трупа в стационарный сарай, карманы покойного остались для них недоступными. На их глазах полицейский достал оттуда бумажник и связку плоских матовых ключей.

Фамилия умершего — Хуан Ривар, финансист. Адрес — Пассаквеколли, норд-вест. Ривар не говорил, какого рода были дела, оставшиеся неулаженными в Пассаквеколли, но Крез при взгляде на ключи установил две вещи: что они были от шкафа солидной конструкции и что, судя по типу шлифовки, они не имели дубликатов.

Иначе говоря, у Ривара в его доме в Пассаквеколли остались ценности, которые он не успел вывезти, и никто другой не мог заменить его в этом деле. Надо было предполагать, что он ехал с севера и точно рассчитал время, но задержка в движении погубила его. Труп его лежал в сарае, ожидая лучших дней. Какой-то мелкий жулик вытащил его вставные челюсти, единственное, что у него осталось.

Ключи остались у полиции. Деб и Крез жалели об этом, но не падали духом. Они были не новички в неслгораемой хирургии. Крез налаживал дела с психологической сторожны, намечал место и схему работы. Деб, менее изобретательный, шел у него на поводу. Впоследствии, однако, Крез отходил на второй план, ибо, поставленный вплотную перед запертым шкафом, Деб обнаруживал сноровку, до которой ему было далеко.

Хуан Ривар занимал отдельный дом, как и следовало ожидать от человека, неудовлетворяющегося ключами обычной конструкции. Друзья прошли в раскрытые ворота и без большого труда вскрыли входную дверь. Из всех троих только для Тарта этот способ проникать в чужое жилище был непривычным, и он чувствовал себя стесненно. Деб и

Крез двигались уверенно, с напором и без лирики, как ходовые доктора, не задерживающиеся в передних и направляющиеся прямо в комнату больного.

В первой комнате Деб остановился и посмотрел на Креза с сомнением. Комната на три четверти была вывезена. Крез оглядел остатки мебели, окна без штор и темные квадраты на стенах на месте картин, и сделал знак, что в этом нет ничего неожиданного.

— Это значит только, что у Ривара есть семья и слуги, которые позаботились об имуществе. Но ведь не ради этого хлама Ривар за час до прохода колеса нанимал аэроплан, чтобы прорваться сюда.

В жилых комнатах вещи стояли на местах. В спальне Крез заглянул в шкафы и предложил их вниманию Тарта.

— Здесь вы найдете все, что вам надо. Хуан Ривар был не выше и не толще вас.

Он мимоходом выдвинул ящик ночного столика:

— Здесь бритва и остальное...

Крез никогда не бывал раньше в доме Ривара, во отлично знал, где у него что лежит. Он потрогал краны в ванной, пожалел, что в доме нет горячей воды, и исчез.

— Можете не торопиться, — сказал он, появляясь снова. — Полиция явится не скоро. Но не забудьте сжечь свою старую одежду. Иначе собака впоследствии поймает именно вас.

Он появлялся еще не раз, чтобы взглянуть, как идет переодевание, и сейчас же, прислушавшись к звукам из кабинета, исчезал. Он вел себя как человек, у которого где-то в другой комнате стояло на огне молоко, и он боялся прозевать момент, когда оно закипит.

Действительность не вполне совпадала с созданным им планом. Шкаф, который они нашли в кабинете, оказался пустяковым, обычной конструкции. Деб трудился над ним и был близок к концу, но Крез чувствовал трещину в своих построениях и беспокоился.

Платье Ривара также не совсем годилось для Тарта. На портретах, висевших в спальне, он выглядел худощавым, но осанистым стариком. На самом деле его осанка была вся

на вате, и Тарту эту вату пришлось выпаривать.

Хуан Ривар любил сниматься. В комнате было несколько десятков его портретов. Они висели вдоль стены в хронологическом порядке, наглядно показывая, как он из года в год разрушался. Было непонятно, для чего он их повесил. Он словно всегда хотел иметь перед глазами доказательства того, что он стар и скоро умрет. Станный, болезненный интерес к вещам, о которых другие предпочитают не думать.

Несколько женских портретов висело во втором ряду. Их было немного, и они висели через неравные промежутки, соответствуя каким-то годам в жизни Ривара. Возраст их шел в обратном порядке. Чем старше становился Ривар, тем моложе была женщина. Последний портрет изображал девушку восемнадцати лет с цыганскими глазами и нежным искривленным профилем.

Тарт оделся и собрал в узел старое платье. Его надо было сжечь. Он обошел дом, но нигде не нашел приспособлений для отопления. Дом отаплился изнутри стен, и только в угловой комнате был камин, красивый и ненужный, нарочно восстановленный предмет старины. Кто-то любил сидеть на ковре у камина и смотреть на огонь, и судя по обстановке комнаты, это была женщина.

От нее осталась продавленная кушетка, туфли на полу, географический атлас, пюпитр радиозэкрана. Все это можно было достать рукой с кушетки, на которой женщина, по видимому, проводила жизнь. Она не любила также, чтоб ей мешали: на двери, кроме внутреннего замка, открывавшегося с той и с другой стороны, был еще грубый железный крючок. Другой крючок, поменьше, также висел на двери, но он был сломан и свернут на сторону.

Тарт развел в камине огонь, и пока платье тлело, занялся просмотром фотографий в ящиках стола. Все они изображали одно и то же лицо — последнюю женщину Хуана Ривара.

Каждый ящик показывал эту женщину с новой стороны. Снимаясь, она делала над собой опыты. Она сама снимала себя, изучая лицо в зеркале. Но в ее грусти не было

глубины, а улыбки были испорчены любованием собой. Она не знала, что для того, чтоб быть красивой, надо прежде всего забыть о своей красоте.

Хуже всего были карточки, где она училась носить драгоценности. Это искусство ей давалось с трудом, и много улыбок пропало у ней даром, пока она научилась носить жемчуг, не выпячивая грудь, и скрывать в глазах удовольствие от блеска камней. Все ее драгоценности, собранные вместе на полке шкафа, также были сняты на карточке и составляли солидную мертвую кучку.

Эта женщина копила улыбки с такой же аккуратностью, с какой Хуан Ривар регистрировал свои морщины. Что связывало их? Ни дневника, ни писем в ящике не было. Два листка бумаги, найденные Тартом в столе, ничего не объяснили ему. Судя по этим листкам, Ривар и женщина не разговаривали друг с другом, но объяснялись записками.

«Я не люблю молчания, — писал Ривар. — Почему вы не верите мне?»

Женщина отвечала на том же листке одной фразой:

«А кто сломал крючок?»

«Вы в сотый раз вспоминаете о нем, — снова писал Ривар. — Это была вспышка, и я за нее уже достаточно наказан».

Второй листок был в другом роде:

«Тип ходит около дома. Это мне не нравится. Это напоминает мне обстоятельства нашей первой встречи. Не вздумайте повторять их. Тогда я растерялся. Сейчас у меня другие мысли»...

Тарт пошевелил платье в камине. Оно еще тлело. Он встал, чтобы идти. Разгадывать мысли Хуана Ривара у него не было охоты. Крез встретился с ним в дверях. Он вошел подавленный, с кривым лицом.

— Шкаф пуст, — объявил он. — Ценности вывезены. Старик надул нас. Между тем перед смертью он играл с такой бесподобной искренностью...

Действительность была против его теории, но в этой теории был пункт, которого он не хотел уступать.

— Ривар торопился домой... — бормотал он, бегая по комнате. — За каким же чертом он торопился домой?

Тарт достал из ящика фотографию драгоценностей и протянул ему:

— Вот вещи, которые могли быть в шкафу...

Крез нехотя взял фотографию.

— Вы думаете, мне будет веселей, если я посмотрю на них?

Но, посмотрев, засмеялся, точно ему в самом деле стало весело.

Вошел Деб, одетый, с чемоданом в руках. Он считал дело конченным и торопился поспеть в другое место. Его удивляло, что Крез бегал по дому и не собирался уходить.

— Черт меня дернул связаться с психологом, — сказал он не то злобно, не то довольный тем, что имеет право смеяться над своим другом. — Самое лучшее время пропало. Если в дело вмешается психология, это значит — ничего не выйдет...

— Ты дурак, — сказал Крез, оправившийся от подавленности. — Моя психология верна от точки до точки. Вся штука в том, что мы взломали не тот шкаф. Эту древнюю колымагу Ривар нарочно оставил для дураков. Взгляни на фотографию. Ценности лежат в стенном шкафу. Стена подымается на полтора метра. Это очень серьезный шкаф.

Он обежал комнаты, сличая рисунок на обоях с рисунком на фотографии, и когда нашел подходящий, выстукал в этой комнате стены. В одном месте стена дала резонанс. Деб, снова приступивший к исполнению обязанностей, прощупал границы резонанса.

Где-нибудь вблизи находилась кнопка подъемного механизма. Его заинтересовала выбоина в стене повыше человеческого роста. Он прощупал ее инструментом. Она оказалась неглубокой и из нее вывалился кусочек металла — сплюснутая револьверная пуля.

Когда Деб нашел кнопку, часть стены поползла вверх. Тарт был удивлен, увидев уходящую к потолку стену, но друзья не в первый раз присутствовали при подобных чудесах. Оба пришли в бодрое рабочее настроение. Деб вдум-

чиво оглаживал руками дверь. Крез налаживал аккумулятор и сверла

Но они забыли о контакте сигнализации, и когда дверь неожиданно заговорила человеческим голосом, отскочили от нее в ужасе. Хуже всего было, что они узнали, кому принадлежал этот голос.

— Алло, алло, алло! — кричал голос. — Происходит грабеж в доме Хуана Ривара, Пассаквеколли, норд-вест. Все на помощь! Просьба не полениться сообщить полиции, что в доме Хуана Ривара, Пассаквеколли, норд-вест, происходит грабеж. Долг каждого помогать соседу. Не откажите дать знать полиции, что грабеж происходит в доме Хуана Ривара»...

Деб вышиб контакт, и Хуан Ривар перестал кричать. Этот гражданин был мертв и разлагался в станционном сарае и все-таки успел накричать достаточно, чтобы его призывы, повторенные рупорами на площадях, причинили друзьям затруднения.

В обычное время такой случай заставил бы их бросить работу и спешно удалиться. Но сегодня в этом не было необходимости. Город был еще пуст, и едва ли кто слышал призывы Ривара.

Тарт вернулся в угловую комнату, где в камине тлело его платье. Требовалось подождать. Он снова проглядел фотографии, еще раз прочел записку о типе, который шатается вокруг дома и напоминает Ривару обстоятельства какой-то его встречи.

Грязные тетради, которых он прежде не заметил, лежали на дне ящика. Два одинаковых печатных списка городов мира. Они назывались «Мои города» и «Города Анны» и были исчерканы по-разному. Тарт отыскал в списках свой родной город. В «Моих городах» он стоял нетронутым, в «Городах Анны» был зачеркнут.

Старая фотография выпала из «Моих городов». Девочка четырнадцати лет, в грубом платье, с цыганскими глазами и искривленным профилем. В ее лице был напор, и не было беспокойства о красоте. Последняя женщина Ривара неплохо начинала свою карьеру.

В самом дальнем углу ящика Тарт нащупал коробку. Он вытащил ее на свет именно потому, что она была далеко запрятана. В ней лежали восковые пластины, изрезанные по форме плоских ключей. Это была принадлежность взлома и она хранилась в столе последней женщины. Странно, что с этого момента она стала казаться более интересной. Он взял пластинки и понес их друзьям.

Друзьям не везло. Деб с торжеством распахнул первую дверь, но Хуан Ривар испортил торжество, еще раз подняв вопль. Это была вторая линия укреплений, защищаемая им, а за ней могли оказаться еще третья и четвертая. Между тем в городе уже появились люди.

Деб был разозлен. Несколькими ударами он сплющил автофон и, даже добившись молчания, продолжал колотить его, ругаясь и задыхаясь.

— Стой! — остановил его Крез. — Ты похож на собаку, которая поскользнулась и лает на скользкое место...

Друзья были стеснены временем. Модели Тарта спасали их. Крез принял их без слов, поблагодарив взглядом. Они освобождали Деба от многих ненужных экспериментов, и пока Деб одолевал очередное отверстие, Крез на походном станке вырезывал для него следующие номера.

Им было не до расспросов. И если б Тарт рассказал им, что уже до них к этим отверстиям протягивались чьи-то руки, — руки неторопливые и хорошо вооруженные, — они все равно не отошли бы от шкафа. Они должны были одолеть его до конца.

В кабинете Ривара Тарт подошел к ящику с копиями диктограмм и пропустил через аппарат последние из них. Голос был знакомый, тот самый, который кричал из шкафа. Распоряжения касались эвакуации, вагонов с грузами, банковых переводов. Тарт пропускал подробности, но следил: когда и откуда распоряжения отдавались, и каждая новая копия подтверждала неприятный для друзей факт: Хуан Ривар распоряжался из своего кабинета в Пассак-веколли в день, предшествовавший проходу колеса.

Он был в этот день дома и мог вывезти оттуда все, что ему было надо.

И все-таки, если за час до прохода колеса он, рискуя жизнью, рвался в Пассаквеолли, то это значило, что он забыл там что-то очень важное. Что он забыл там?

Дверца шкафа начиналась на вершок от полу и была высотой в человеческий рост. Это был не шкаф, а темная стальная комната, в которую человек входил не сгибаясь и свободно поворачиваясь между полками.

Деб распахнул последнюю дверь. Эти моменты в его жизни были считаны. Они волновали его. После них ему требовалось отдохнуть, и только тогда у него появлялся интерес к добыче, ради которой он старался. Крез вошел внутрь и осветил фонарем верхние полки. Они были пусты. Пустым был и второй ряд. Он согнулся и пустил луч по полу. И сейчас же, не разгибаясь, попятился задом и выскочил наружу.

— Что за черт!..

И не столько разочарование, сколько брезгливость и страх были на его лице. Существовали вещи, которых он не переносил.

Тарт взял из его рук фонарь и заглянул под полки. Справа мужские ноги высывались из-под ковра, щуплые и неподвижные. Слева лежала женщина, скорченная, прижавшись к стене, точно труп давил ее. Несколько плоских металлических ключей, брошенных с размаха, лежали между ними на полу.

Он осветил фонарем лицо женщины. Оно было искаженным, точно она умерла в мучениях. У нее были морщины на лице, седина в волосах, выпученные глаза. Он догадывался, кто это мог быть, и все же не сразу убедился, что перед ним — последняя женщина Хуана Ривара.

Деб и Крез молча складывали инструменты.

— Эти люди пытались предупредить вас, — сказал Тарт. — Ключи сделаны по тем же образцам, по которым работали и вы. Хуан Ривар был дома и застал их. Он предвидел их нападение. Об этом есть записка с его собственными словами. Он писал о каком-то типе, который шатался вокруг дома. Неизвестно, сколько пуль он всадил в него, но все они попали без промаха, за исключением одной, которую

вы видели в стене. Тип умер без мучений. Хуже было с женщиной, которую Ривар живой загнал в шкаф. Потом он опорожнил полки, закрыл шкаф на полный взвод и уехал. Он сделал это в припадке злобы. Но впоследствии передумал и захотел освободить ее. Вы видели, с какой страстью он рвался назад в Пассаквеолли. Он любил ее, хотя отношения у них были плохие...

На улице, на углу, все трое остановились, не зная, что делать дальше. Город наполнялся людьми. Было бесполезно думать о новой серьезной работе.

— Вот видишь, Крез, — оказал Деб уныло и беззлобно, ибо не мог злорадствовать над своим притихшим другом, — если б мы с самого начала пошли наугад шарить по домам, уж мы наверное что-нибудь бы нашарили. Но тебе понадобилась психология, и мы остались ни с чем. В следующий раз, если мы будем работать вместе, пожалуйста, обойдись без психологии...

18. «ШАРЛОТТА»

Странные ощущения испытывал посетитель, поднимаясь по отлогим, липким ступеням «Шарлотты». Его первое впечатление было, что воздух на этой лестнице никогда не проветривался, что он стоит здесь неподвижно с самого основания дома и все больше густеет и материализуется. Посетитель задерживал дыхание и смотрел вверх, считая марши, которые ему оставалось пройти. Весь дом представлялся ему ржавой, плохо промытой плевательницей, и он воспринимал как унижение тот факт, что эту плевательницу ему придется считать своим жилищем. Но так как это был факт и в «Шарлотту» он приходил после многих отказов в других местах, он смирился и продолжал путь вверх.

Немного позже, на высоте четвертого или пятого этажа, его подавленное настроение смягчалось. Долго задерживать дыхание было нельзя, посетитель поневоле вздыхал всей грудью и, вздохнув, замечал, что воздух «Шарлотты» перестает тревожить его.

Надо было только раз втянуть его в себя как следует, чтобы освоиться с ним. Запахов было много, и большая их часть имела смиренное житейское происхождение. В мусорных ящиках среди отбросов копались кошки. Аромат лизоля проникал из коридоров, свидетельствуя о попытках благоустройства. Он составлял устойчивый фон, он окрашивал атмосферу «Шарлотты» в ржавый цвет. Табачный чад из общих приемных, запах пудры от проходящих женщин, выделения кухонь и уборных, сложные испарения насквозь проплеванных углов — пробивались сквозь него острыми струями.

Воздух, продышанный многими людьми, начинал нравиться посетителю. Он шел не торопясь, приглядываясь к встречным. Впечатление, полученное им, удивляло его: все женщины, встречавшиеся ему здесь, казались доступными, а мужчины — способными на что угодно. Это были поспешные преувеличенные выводы, и он понимал это, но

воздух «Шарлотты» внушал ему такие мысли и заставлял видеть авантюру даже там, где ее не было.

Этот же воздух немного позже, между шестым и седьмым этажами, смирял и его собственную гордость, — если до тех пор он страдал ею, — внушал ему, что и он здесь не лучше других, что он лишь мелочь, вываривающаяся в общем котле. И если случайные предубеждения и прошлые привычки мешали посетителю освоиться с такими мыслями, лишний глоток воздуха освежал его и облегчал ему этот шаг.

Брисбен, Анна и Скруб прошли через приемную контролу, сдали документы, заплатили за неделю вперед, получили ключи от трех смежных комнат в восьмом этаже и, подымаясь по лестницам, испытали все стадии привыкания к «Шарлотте».

Скруб освоился с ней скорее других. Он шел с видом исследователя, принимался, сравнивал. В его памяти сохранялись запахи таких же домов в Кантоне, Вильне, Марселе и в сотне городов. Он вызывал их в себе и убеждался, что «Шарлотта» не выходила из общего ряда.

— Насколько я могу судить, — сказал он своим спутникам, — нищета всюду пахнет одинаково...

Это была старая истина, но Скруб умел ставить свой штамп на старых истинах.

Две женщины стояли в пятом этаже у перил и смотрели в пролет. У них были утомленные выжидающие лица. Брисбен и Скруб не заинтересовали их, но Анну они оглядели внимательно и недружелюбно.

— Смотри, Маб, — вполголоса сказала одна из них, пропуская Анну: — еще одна честная...

Она хотела вложить в это слово побольше презрения, но в ее презрении не было уверенности. Ее интонация ослабла и смялась, она сама рассердилась на себя и, чтобы поправить дело, громко добавила вдогонку:

— Зачем честные лезут в «Шарлотту»? Тут не для них...

Вторая женщина, Маб, молчала. Она была высокомерна и не вмешивалась в разговор, но неожиданная злость ее подруги забавляла ее.

В темном углу на площадке шестого этажа над мусорным ящиком стоял пьяный и, дергаясь, выдавливал из себя рвоту. Двое мужчин, спускавшихся сверху, вдруг повернули в его сторону, взяли его под мышки, посадили на пол и сняли с него сапоги. Они работали весело, с военным счетом, каждый на своей половине, а убедившись, что сапоги драные, оба разом бросили их на пол и продолжали путь, точно ничего не случилось. Между тем пьяный, считая себя ограбленным, захныкал.

Еще выше им попался немолодой опрятно одетый человек. Он посмотрел на их походные мешки и сделал знак, что хочет говорить с ними.

— Вы только что прибыли в Лондон? — спросил он благожелательно. — Вам, конечно, понадобится работа. Вы можете достать ее через контору Денни и Смелт, в этом же доме, во втором этаже. Меня зовут Рохус Смелт. Будем знакомы.

Он предложил им рекламу, мгновенно явившуюся из его кармана, но из всех троих только Анна протянула за ней руку. И может быть поэтому, прощаясь, он улыбнулся ей дольше, чем остальным.

Анна заняла среднюю из трех комнат. Комнаты были совершенно одинаковые. К их обстановке требовалось привыкать постепенно, как к воздуху «Шарлотты». Тут были матрасы с расстроенными пружинами, комоды с выломанными замками, умывальные тазы с облезшей краской и кислым запахом. Ни один предмет не выполнял своего назначения. Все скрипело и валилось набок, всюду чудились грязные следы. Зеркало отражало лицо как через вуаль. Окно пропускало холод. В кувшине вместо воды была пыль.

Скруб довольно скоро устроился в своей комнате и ушул. Брисбен также затих. Но Анна долго приглядывалась к комнате, не решаясь лечь в постель. Ночью ей снился плохой сон.

Иногда человек видит во сне, что все вещи, за которые он берется, ломаются. Он хочет открыть дверь, но дверная ручка остается в его руках. Он садится в кресло, но кресло падает, потому что оно было о трех ножках. Он берется за

спинку кресла, чтобы поднять его, и подымает только спинку, которая ничем не была связана с остальным. Он выходит на балкон и прислоняется к перилам, но перила подаются вперед. Он отскакивает назад и в страхе кричит, и сам не слышит своего крика, потому что его горло также не работает. Он застывает на месте, боится сделать шаг, чувствуя себя среди вещей как среди врагов.

Утром вещи оказались не такими страшными. Они были очень грязны. Их надо было мыть, перетирать, заливать формалином, вышибать из них чужой запах и закрывать бумагой то, чего нельзя было ни вымыть, ни вытереть.

Брисбен также начал день с уборки и вымыл в своей комнате пол, но Скруб для себя не считал этого нужным. Он чувствовал себя гостем и не путался в эти дела.

— Я отвык от этих штук, — говорил он, наблюдая работу Брисбена. — Я редко где ночью больше одной ночи. И если б я всюду мыл полы, у меня бы не хватило времени на мои прямые обязанности.

Вскоре он ушел в город, захватив с собой путевую книгу. Он хотел сам разыскать географическое общество, раз оно не догадалось выслать делегацию ему навстречу.

Ушел и Брисбен, и вернулся только вечером подстриженный, без бороды, в другом платье. Он перестал быть сонгорским бродячим лудильщиком и превратился в обыкновенного лондонского жителя.

Он был в хорошем настроении. Он нашел друзей, которые обещали позаботиться о нем. Он некоторое время возился в комнате, переставляя мебель, вколачивая гвозди, выстукивая стены. Он зашел к Анне, чтобы узнать, насколько шум из его комнаты проходит к ней. Комната по другую его сторону стояла незанятая, и он мог стучать не боясь, что кого-нибудь обеспокоит.

А еще позже Анна услышала в его комнате голоса, хотя Брисбен был там один. Голоса слышались редко и из разных углов и звучали глухо как телефон, накрытый колпаком. Ни один из них не принадлежал Брисбену. Брисбен был в комнате, слышал голоса и не отвечал на них.

Сама Анна в первый день выходила не дальше конторы Рохуса Смелта во втором этаже «Шарлотты». Смелт не мог ничем обнадежить ее.

— Вы хотите давать уроки иностранных языков, — сказал он. — Не могу одобрить вашего выбора. Когда-то на эти вещи был спрос. Сейчас богатые люди еще не настолько богаты, чтобы позволить себе изучать иностранные языки. Кроме того среди них все больше распространяется мнение, что лучше не знать никаких иностранных языков. Вы умеете считать, писать, составлять бумаги, с двух слов понимать патрона — но сейчас все обладают этими качествами: служащие, которым приходилось повторять приказание два раза, давно вымерли от голода или переменили профессию. Будет лучше, если вы перейдете на черную работу. Заполните анкету подсобного труда, уплатите вступительный взнос и ждите. Перспективы безотрадны, но не безнадежны.

И пока Анна заполняла анкету, Смелт говорил о плохом состоянии рынка труда, о малом спросе и большом предложении.

— Никто не закрывает глаз на общее печальное положение. И я меньше, чем кто-нибудь. Но таков естественный ход вещей, и надо признать, что сейчас он не на пользу бедноты. Я делаю для своих клиентов все что могу. Я особенно выделяю одиноких женщин, потому что им тяжелее, чем другим. Но смешно думать, что усилия отдельного человека могут что-нибудь изменить в общей грустной картине. Разве можно бороться с огромной машиной, которая работает по своим естественным законам?..

У себя в конторе Рохус Смелт мог заставить слушать себя. И возможно, что этот естественный ход вещей действительно печалил его, но посреди фразы о тяжелом положении одиноких женщин он должен был сделать паузу и проглотить слюну, которая накопилась у него во рту, пока он разглядывал Анну.

— В крайнем случае я пошлю вас за проволоку, — сказал он, — на газ, в разрушенные кварталы. Только сегодня я отправил на газ большую партию рабочих. У этой работы

плохая репутация. Надо работать в зараженных местах, ворочать камни и наткаться на неприглядные сцены. На самом деле каждый может работать по силам, а опасность заражения ничтожна...

После уплаты вступительного взноса у Анны остались гроши. Их можно было проесть в несколько дней, но надо было растянуть на две недели. В ее положении даже «Шарлотта» была ей не по средствам, и подымаясь по лестницам, она думала, что не далек день, когда контролер отберет у нее ключ и «Шарлотта» будет представляться ей уютным недоступным местом.

Скруб в первый день вернулся ни с чем. Он не нашел в Лондоне королевского географического общества. Оно еще не успело вновь сорганизоваться. Существовали лишь отдельные географы, о которых надо было наводить справки. Скруб полагал, что ему придется задержаться в Лондоне.

Утром всех троих вызвали в контору. Им вернули документы и выдали продуктовые карточки. Это значило, что город Лондон принял их и зачислил на довольствие.

Одной рукой секретарь возвращал жильцам документы, а другой копии тех же документов отсылал на специальную проверку в секретную полицию.

В этом учреждении копии прошли через много рук. Фамилией Брисбен заинтересовался агент, которому она напала какую-то недавнюю публикацию об утерянных документах.

Документ Анны шел без задержек, пока не попал к специалисту по немецким красным эмиссарам. Этот человек долго и с интересом разглядывал документ. Он поставил на нем свою разрешительную визу и передал его дальше, но записал отдельно адрес Анны и номер ее комнаты.

19. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД ВЕЩЕЙ

Оседлая жизнь не кормила Скруба. Он жил субсидиями, получаемыми от ученых обществ, любителей географии и первых встречных. Это был налог, разложенный им на все население земного шара, и он брал его с легким сердцем.

В Лондоне ему не повезло. Академики были бедны и отсылали его в президиум. Президиум мог вынести решение, только собравшись на заседание. Заседание должно было состояться в неопределенном будущем.

У консула и соотечественников Скруб также не нашел сочувствия. Он казался им чужаком, одержимым страстью к хождениям, байноманией, болезнью аналогичной графомании, но только в другой области. Являясь к ним, Скруб встречал ироническое отношение и ему не везде предлагали сесть.

Он предъявлял им свою книгу и получал небольшие суммы, вместе с замечанием, что, судя по данным его книги, он еще ни в одном пункте земного шара не задерживался так долго, как в Лондоне, и что ему лучше продолжать путешествие.

Скруб прошел девяносто восемь сотых своего пути, и все обстоятельства были за то, чтобы не сидеть на месте, закончить круг и вручить стокгольмской академии знаменитую путевую книгу. Между тем он жил в «Шарлотте» и не собирался из нее уходить. Какие-то письма до востребования не были получены в почтамте на его имя и справки по поводу этих писем также остались неотвеченными. Какая-то сводка расстояний по географическим картам не была подсчитана им до конца. Кроме того ему захотелось написать мемуары.

Он вымыл комнату, купил чернил, вступил в отношения с прачкой. Им овладел рецидив оседлости, которым он время от времени был подвержен. Он в короткое время оброс привычками, обзавелся привязанностями, сделался

педантом: приучил собаку с улицы приходить к себе в определенные часы, завел расписание дня, капризничал, если к кофе ему давали не ту чашку, из которой он пил вчера.

По вечерам он писал мемуары. Он был краток в записях: семь предыдущих лет умещались у него в нескольких небольших тетрадках.

«Я посетил Осборн и западный Лондон, — писал он, подводя итоги рабочему дню. — Я пересек огромные кварталы, огороженные проволокой. В этом городе, как мне сообщили, была революция. В Осборне мне показали дом, в котором живет принц Альберт, дядя бывшего короля. Я просил об аудиенции, но адъютант принца сказал мне, что он никого не принимает»...

«Наш консул Киргор,—записывал он на другой день, — по-видимому, не на месте: он принял меня стоя. Господин Линдфорс в Кардифе гораздо любезнее»...

«Я начал раздеваться, — писал он еще дальше. — Я продал жилет и нижнюю рубашу. За двойной походный ремень мне дали кило хлеба. Продукты в этом городе дороги».

Промышленная статистика городов, через которые он проходил, их история и современный образ правления редко отмечались в его тетрадках. Он считал эти вещи чересчур специальными и не входил в подробности, но не забывал отмечать разные мелкие происшествия, случившиеся с ним в пути.

«Полицейский, — писал он, вспоминая Барселону, — полтора часа продержал меня в уборной в наказание за то, что я не хотел платить за пользование ею. Напрасно я уверял его, что у меня нет денег и что в других странах за это не берут платы. Он говорил: «Это нечестно. Вас надо учить. Если вам дать волю, вы все заберете даром».

«В Пасоаване на бульваре маленькая девочка по ошибке приласкалась ко мне. На мне были штаны того же цвета, что и на ее отце. Она ухватила за мою ногу, прижалась лицом к колену. Это было приятно и тягостно. Отец стоял сзади и не торопился выяснить ошибку. Он смотрел на меня как добрый человек, которому не жаль, если и другие около него будут счастливы. Ему не приходило в голо-

ву, что быть обласканным по ошибке совсем не так весело».

«Между Намюром и Лансом я встретил на дороге корову. Мне захотелось молока. Я подоил корову в походный котелок. Корова позволила наполнить котелок до краев, но затем ударом копыта опрокинула его. Таким образом, нечестный способ не привел к цели».

«В Лансе я сидел в библиотеке, на пятнадцатом этаже, в стеклянной нише с огромной перспективой. Передо мной была карта, на которой я циркулем промерял расстояния. Какой-то человек сказал мне: «Пожалуйста, профессор, пересядьте в другое место». Он считал меня профессором. Ему было неловко отрывать меня от работы. Он смотрел на карту и циркуль с уважением, какого эти вещи не заслуживали. Он открыл окно, сел на подоконник, снял сапоги и полез наружу, ступая босыми ногами по карнизу. Это был кровельщик. На высоте пятнадцатого этажа испортился водосток, и он должен был починить его. Он ходил, не держась ни за что руками там, где у меня кружилась голова, хотя я был защищен стенами. Я почувствовал себя очень жалким рядом с этим человеком, который мог свободно ходить на высоте пятнадцатого этажа. Кончив работу, он вернулся в нишу, надел сапоги и ушел, предложив мне занять прежнее место. Тон у него был виноватый. Он очень жалел, что ему пришлось побеспокоить такую особу, как я»...

Один из листов в мемуарах был наполовину оборван. Речь шла о женщине. Остались только последние строки:

«Сегодня она сказала мне: «Мне не нравится, что ты такой непоседа. Тебе надо остаться в Валенсии и поступить на работу». Мне стало скучно. От женщины всегда можно ждать, что она свернет на такой разговор, но странно, когда слышишь эти слова от цыганки. Я сижу около женщины, но тоскую по койке в ночлежном доме. Это значит, что пора уходить».

Его первая лондонская запись была о «Шарлотте»:

«Мрачный дом, в котором не все в порядке. Многие входят в страхе, держась за карманы, но впоследствии стыдятся этого жеста. В этом доме нет оснований считать себя луч-

ше других. Все люди — братья! Поразительно, что именно здесь понимаешь эти слова особенно ясно».

Эта запись показывала, как сентиментален был этот молодой человек и какой устарелой терминологией он пользовался. Дальнейшие записи были почти сплошь о лицах и учреждениях, плохо обходившихся с всесветным пешеходом, а также о предметах походного обмундирования, которые он должен был благодаря этому продавать. Скруб потихоньку раздевался, записывал проданные краги и фуфайки и умалчивал в мемуарах лишь о самом главном, что удерживало его в «Шарлотте».

Ибо рецидив оседлости не случайно напал на Скруба именно в «Шарлотте». С первых же дней он стал очень внимательно относиться к тому, что происходило за стеной, в комнате соседки. Он отмечал дни, когда она пела, просыпаясь, и радовался ее бодрости, а если вечером, придя домой, она без звука ложилась в постель, он знал, что день был для нее неудачен. Однажды при встрече он заметил, что с ее шеи исчез шарф, хотя было холодно, и встревожился: не значило ли это, что и она тоже начала раздеваться и исчезнувший шарф соответствовал жилету, с которого этот процесс начинался у него?

— Как дела, Скруб? — спрашивала Анна при встречах. — Не очень хороши?

— В чем дело? — смеялся Скруб. — Земля — шар! И если где-нибудь меня плохо приняли, я могу двинуть дальше...

Но у себя в комнате он сбавлял тон.

— Земля — шар! — вздыхал он, сидя за мемуарами и прислушиваясь к тому, что происходило за стеной. — Да, да. Земля — шар...

Раздевание подходило к концу. Все нижнее платье было продано начисто, все верхнее обменено на худшее с приплатой деньгами. Скруб мот сколько угодно оглядывать себя: он ни с какой стороны не представлял собой ценности.

Оставалась путевая книга с отметками на сотне языков, приготовленная для стокгольмской академии. Какой-нибудь коллекционер мог бы дать за нее деньги, и Скруб ино-

гда с сомнениями поглядывал на книгу.

Однажды он услышал, что в дверь к Анне постучали. Мужчина, говоривший с немецким акцентом, попросил разрешения войти. Его появление, по-видимому, удивило Анну.

— Это вы, Эгон? — спросила она, открывая ему дверь.
— Вы приехали? Зачем вы приехали?

Скруб за стеной вслушивался в ее интонации. Интонации были дружелюбными, но он не уловил в них волнения. Человек, которого встречали без волнения, представился ему второстепенным персонажем. Среди разговора была пауза. Анна зачем-то уходила в комнату Брисбена. Через несколько минут она вернулась, но разговор после этого стал неровным. Посетитель не мог напасть на верный тон и вскоре ушел. Скруб слышал, что, едва отойдя от двери Анны, он пробормотал грубое слово.

Скруб вышел в коридор, чтобы посмотреть на него. Он увидел вдали русую голову, понурюю спину и серую шляпу с широкой лентой.

И хотя он не сумел разглядеть его подробно, на следующий день он снова увидел его среди людей, встречавшихся в «Шарлотте». Это был молодой человек, хрупкий, высокомерный, с меняющимися настроениями. Он поджидал кого-то на лестнице, поглядывая в коридор восьмого этажа. По этим взглядам Скруб узнал его. Он сам смотрел в том же направлении, и взгляды, идущие в том же направлении, не могли миновать его.

Впоследствии он не раз попадался Скрубу. Его роль оказалась не совсем второстепенной. Обращение Анны с ним улучшилось. Ему были отведены специальные часы, и он входил в дверь по условному стуку. Однако его появлению всякий раз предшествовала одна подробность: прежде чем впустить его в комнату, Анна каждый раз стучала в стену к Брисбену.

Скруб заметил эту подробность, размышлял о ней, но не мог ее осмыслить.

20. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПАУК

Немного позже Скруб заметил еще одну пару глаз, которая также смотрела в направлении комнаты восьмого этажа.

Скруб обнаружил это случайно. Однажды ему пришлось в голову, что он мог бы заработать деньги, прочитав публичную лекцию о своем путешествии. Его мемуары давали для этого материал. Достаточно было прибавить к ним немного цифр и собственных имен, убрать эпизод с коровой и другие спорные места, умолчать о случае, когда его заперли в уборной, — и могла бы получиться забавная и поучительная история, для которой путевая книга служила бы иллюстрацией. В поисках импресарио Скруб заглянул в контору Рохуса и Смелта во втором этаже «Шарлотты».

Смелт разочаровал его. Он никогда не был устроителем публичных лекций и не знал никого, кто бы взялся за это дело. С профессиональной стороны он не мог быть полезен Скрубу. Зато вне деловой сферы Скруб неожиданно встретил у него сочувственный и даже восторженный прием.

— Немногие из людей способны сделать то, что сделали вы, — сказал Смелт, приветствуя его как всемирного путешественника. — Вы человек огромной выдержки. Я давно хотел познакомиться с вами. Если не ошибаюсь, вы живете в восьмом этаже, в восьмьсот сорок девятом номере?

Он ошибся на один номер. Он назвал номер Анны. Скруб не обратил на это внимания, но Смелт сам поправил себя:

— Вернее: вы живете рядом с этим номером. Потому что в восьмьсот сорок девятом живет одна моя клиентка. Вот почему я помню его ...

Было поздно. Приемные часы кончались, и закрывая контору, Смелт предложил Скрубу провести вечер вместе.

— Мы поговорим за бутылкой вина. Нам есть о чем поговорить. Считайте себя моим гостем.

Скруб, всегда бывший чьим-либо гостем, считавший себя в гостях у человечества, не стал отнекиваться. Смелт при-

вел его в трактир.

За вином сначала говорил Скруб и, под впечатлением дневных неудач, ругал ремесло всесветного пешехода: усталость, лишения, инвалидное будущее. Он сдохнет на двадцать лет раньше своих сверстников. Сдохнет, не оставив детей, без имени. Его труп будет лежать в морге, невостребованный родственниками.

— Зато вы свободны! — возражал Смелт, у которого были свои причины жаловаться. — Вы вне классов. На вас не липнут взгляды людей, у которых вы отняли их гроши. Если б вы знали, как тяжело чувствовать на себе эти взгляды. Но что можно сказать людям, которые не понимают, что естественный ход вещей раскидывает нас направо и налево, как он сам захочет? Я верю, что впоследствии он же, исчерпав себя, приведет к общему благополучию. Сейчас мои дела не плохи. Я имею возможность позвать друга в ресторан и угостить его вином. Но если вы заметили — качество вина не важное. Это оттого, что я не знаю, как называются более дорогие вина. Еще не успел узнать. Я — вчерашний бедняк. Я сам полгода назад пришел в Лондон с мешком за спиной. Чем я виноват, что я умнее других и понял, что во время общей безработицы единственной верной работой является именно подыскивание работы для других? Каждый, кто сейчас смотрит на меня косо, был бы рад занять мое место. Вся штука в том, что он не догадывается, как это сделать...

— У меня есть деньги, — жалобно говорил Смелт, переходя к третьей бутылке. — Но какая мне польза от них? Могу вам сказать по опыту: не в деньгах счастье. Прежде, когда я приходил в трактир обедать, я считал наличность и всегда хотел больше того, что мог себе позволить. Я съедал без остатка все, что мне давали. Сейчас я могу есть много и не думать о цене. Но мне это уже не нужно: я потерял аппетит. Я ем потому, что надо есть. И я хотел бы вернуть прежнее время: только тогда я ел по-настоящему...

Скруб из собственной практики знал, что аппетит иногда пропадает как раз тогда, когда появляется возможность наесться, но в голодном состоянии забывал об этом

и даже не допускал, чтоб такие случаи были возможны. Он с недоверием взглянул на Смелта.

— А любовь? — продолжал жаловаться Смелт. — Вы думаете, деньги помогли мне в любви? Наоборот, из-за них я потерял веру в бескорыстную любовь. Мне тридцать шесть лет. Я мало изношен. У меня приемлемая внешность. Я имею право хотеть, чтоб меня любили. Я очень много значения придано женской любви. Но что выпадает на мою долю? Романы с безработными. Нельзя считать любовью романы с безработными. Они кончаются на следующий день после того, как их пошлешь на работу. После них остается обида, ибо видишь, что тебя еще раз обманули.

Скруб, вяло слушавший его жалобы, насторожился, точно около него вдруг запахло паленым.

— Вы говорите о женщинах, посещающих ваше бюро? — спросил он, неловко прищуриваясь.

— О них, — подтвердил Смелт. — С известной точки зрения, такие отношения предосудительны. Их называют вымогательством. По отношению ко мне это неверно. Я каждый раз верил в их искренность. Я думал: любовь свободна. Тем обиднее было мне потом убеждаться в ошибке. Я сам был страдающим лицом в этом деле. Кроме того, если вдуматься глубже, надо признать, что естественный ход вещей все равно привел бы дело к тому же результату. Мы — слепые исполнители его законов. И не имеет значения: я или кто-нибудь другой окажемся этими исполнителями ...

Скруб молчал. Он был пьян и не мог развивать аргументацию. Но запах паленого, однажды услышанный им, уже не покидал его.

Соседний стол был занят женщинами. Одна из них подошла к Смелту как старая знакомая. У нее было надменное беспокойное лицо. Скруб узнал в ней Маб, которую он видел на лестнице «Шарлотты» в день прибытия.

Она была красива. Она перетянула на себя внимание Смелта, и Скруб был рад этому. Смелт не врал, когда говорил, что придает очень много значения женской любви. Он размяк в присутствии женщины. Он посадил ее рядом с собой. И, казалось, будь Маб немного добрее, он был бы

рад немедленно же поверить в ее искренность, чтобы потом снова страдать от ошибки.

— Ты изменилась, Маб, — сказал он грустно. — Полгода назад ты была другой. Тебе надо изменить жизнь. Приходи ко мне в бюро, я пошлю тебя на работу...

Он говорил с пьяным сочувствием. Он впал в то слюнявое состояние, когда посетители протитутков начинают советовать им перейти на честный путь. Маб слушала его, кривя губы.

— Теперь поздно говорить о работе, — сухо оборвала она его. — Надо было раньше думать об этом. Полгода назад я еще может быть стала бы работать...

И так как Смелт продолжал сочувствовать, она встала из-за стола.

— Мое время деньги! — напонила она ему. — И мне надоели слюни. Если хочешь, идем со мной. Это будет стоить тебе шесть монет. Плати за вино. Идем.

Но Смелт остался сидеть, скривившись точно от боли.

— Ах, Маб, — сказал он с упреком, — разве можно говорить так?

Он страдал. Ее слова оскорбили в нем мужчину и доброго человека и именно в тот момент, когда он хотел подойти к ее душе. Он сжался и замолчал. Маб злорадно наблюдала его.

— Скучно стало? — спросила она, переходя в нападение. — Удивительное дело: вам всегда, как деньги платить, скучно делается...

— Не в этом дело, Маб, — грустно возразил Смелт. — Можешь мне верить. Но всегда, когда женщина вот так говорит о деньгах, мне не по себе.

— А как же о них говорить?

— Мягче. Без нажима. Не так жестко. Как ты не понимаешь, что от грубого слова пропадает чувство...

— Ну? — смеялась Маб. — Пропадает чувство?

— Погибает иллюзия...

Смелт говорил об этих вещах слезливо, но Маб смотрела на него с искренним весельем, и взглянув в ее открытый рот, он смолк и осознал действительное положение вещей.

— И потом, — сказал он, меняя тон и подходя к делу с новой стороны, — шесть монет — откуда такая цифра? Сейчас три, три с половиной — красная цена.

— Ладно! — сказала Маб. — Пусть будет по-твоему. Но только скорее. Плати за вино. Идем.

Она взяла его за рукав. Но Смелт и на этот раз не последовал за ней.

— Скорей? — переспросил он, снова обиженный. — Нет, так я тоже не могу.

Маб постояла минуту около него, но так как он укрепился в настроении обиды, она снова села.

— Ну, и заводилровка с тобой, прости господи!..

Вскоре ей стало ясно, что она даром теряет время около Смелта. Смелт не удерживал ее. Разговор с Маб причинил ему страдание. Он протрезвел после этого разговора и потерял охоту сидеть в кабаке.

— Такова любовь... — с горечью говорил он Скрубу по дороге в «Шарлотту». — Вы хотите человеческих отношений, а вам подсовывают физиологию и просят не задерживаться.

— Ее время рассчитано, — возразил Скруб из желания противоречить. — Сейчас ее рабочие часы. Ей не до нежностей. Что бы вы сказали, если б к вам в контору в приемные часы явился человек и стал бы декламировать самые лучшие стихи?..

— Я не осуждаю Маб, — сказал Смелт. — Она даже лучше других. В ней все наружу. Гораздо хуже, когда вы разглядите то же самое лишь впоследствии. Приходите ко мне в бюро, вы увидите, какими ласковыми могут быть иногда женщины, даже самые недоступные...

Возможно, в последних словах Смелта не было никаких личных намеков, но Скруб, вспомнив, что Анна также бывала в его бюро, встрепенулся.

— Вам лучше не говорить о женщинах, — сказал он сердито. — Даже самые простые чувства вы изображаете черт знает как. А ведь есть женщины с очень сложным характером. Есть женщины с душой такой утонченной, что вы себе и представить не можете...

— Почему же это я не могу их себе представить? — обиделся Смелт. — Я могу представить себе все что угодно.

Он понял причину раздражения Скруба и длительно посмотрел на него.

— Я могу представить себе все что угодно, — повторил он жестко. — И я видел сотни примеров. Некоторые молодые женщины приходят в Лондон пешком с очень гордым видом. Но впоследствии с ними происходят перемены.

Когда Скруб находился в спокойном состоянии, он неплохо объяснялся на английском языке. В сердитом состоянии он забывал сразу все английские слова и ругался по-скандинавски. Он сказал Смелту несколько слов, которых тот не понял, и не прощаясь свернул в сторону.

У себя в комнате он отлежался, остыл, прислушался к шагам за стеной. Шаги были тяжелые, не те что раньше. Неразборчивый голос, как голос громкоговорителя, пробивающийся через вату, слышался ему на короткое время и смолк.

Скруб пошел узнавать, что это означает. В комнате рядом с ним жил теперь Брисбен. Брисбен и Анна обменялись комнатами. Он не понял мотивов, по которым эта ме-на произошла.

Перед сном он развернул мемуары и припомнил свой день. Героем дня был Смелт.

«Из всех пауков, — записал Скруб под свежим впечатлением, — самой неприятной разновидностью является порода сентиментальных пауков. Я видел паука, который был сентиментален до такой степени, что требовал от проститутки искренней любви. Я видел, что его хорошо отчитали за это. По-видимому, у меня еще будет с ним разговор»...

21. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

«Ж и з н ь п р е к р а с н а! — прочел Тарт в проспекте, рассылаемом компанией «Стикс». — Таков наш девиз. Мы никогда не устанем повторять его, глубоко веря в его правильность и не боясь упреков в неискренности. Люди, изверившиеся в жизнь, потерявшие бодрость, пусть обращаются к нам. Они уйдут от нас переубежденными, с новым запасом сил для жизненной борьбы. Лучшие научные и художественные силы, работающие у нас: психологи, врачи, артисты, филантропы и практические деятели — сумеют переубедить их.

Ибо, как показывает громадный собранный нами материал, с а м о у б и й ц ы н е з н а ю т ж и з н и! Они знают лишь ничтожные ее куски, те самые, о которые они споткнулись. Мир, удачно показанный под новым углом, возвращает их к действительности, не всегда радостной и иногда тяжелой, но все-таки живой действительности.

Благодарственные письма, получаемые нами от людей, испытавших подобное превращение, глубоко поучительны, и копии их могут быть высланы для ознакомления всем желающим. Нет возможности приводить их здесь, ибо это заняло бы слишком много места.

Бывают, однако, случаи, когда даже у самых опытных инструкторов опускаются руки. Это случаи неизлечимых болезней, полного морального упадка, результат исключительных жизненных потрясений. Бывают люди, действительно утратившие способность к возрождению, для которых средства переубеждения были бы ненужной потерей времени и непростительным лицемерим. В таких случаях мы говорим: «Эти люди имеют право на самоуничтожение» и сами идем им навстречу, обставляя их смерть необходимым комфортом и предохраняя их родственников от неудобств, с которыми обычно бывает связано самоубийство.

К сожалению, в последнее время подобные случаи встречаются в нашей практике все чаще. Причину этого мы ви-

дим в тяжелом состоянии промышленности, временно, вследствие установления блокады, утратившей иностранные рынки. Очень много тревоги вызывает также колесо, уничтожающее наши пашни и города. И хотя в нашей стране грандиозному размаху разрушений, производимых колесом, соответствует не менее грандиозный размах восстановлений, многие тысячи мелких банкротств остаются ничем не вознагражденными, так как не каждый чувствует в себе силы снова приниматься за устройство своей судьбы. Нет надобности также упоминать о настроениях пассивности, вызванных неудачной до настоящего времени борьбой с колесом, и неизвестностью, которую оно готовит стране в будущем.

Колесо разрушает все, что лежит на его пути. Оно губит и разоряет людей. Но оно же дает людям возможность воспользоваться его силой для целей самоуничтожения. Это пожалуй единственная польза, которую из него можно извлечь. Если высчитать точно время и место прохода колеса и остаться в зоне разрушения, можно уничтожить себя простейшим и наилучшим образом. Этот способ не требует затрат на оружие и другие средства истребления. При нем не бывает неудачных покушений. Уничтожение бывает полным, что сохраняет время, затрачиваемое родственниками на похороны и другую работу около мертвых тел. Этот способ получил сейчас распространение, но, при разрозненных попытках отдельных лиц, им не удастся достичь максимума удобств, какие этот способ предоставляет. Компания «Стикс» решила внести в это дело организующее начало.

Для предстоящего двенадцатого оборота компания арендовала в городе Бетане большой отель со всей обстановкой, оркестром и кухней. В его комнатах клиенты «Стикса» смогут провести последние дни, каждый сообразно своим склонностям. Им будет предоставлен материальный комфорт, все средства развлечения, возможность общаться с себе подобными, а при желании — изоляция от них и отдельные комнаты для размышлений. Автомобили «Стикса» поддерживают непрерывное сообщение с внешним миром. По-

следний автомобиль уезжает из зоны разрушения за четверть часа до прохода колеса. Лица, почему-либо раздумавшие умирать, могут заблаговременно покинуть Бетан. Вступительный взнос, уплачиваемый вперед, невысок: не больше той суммы, которую каждый бы израсходовал на свое погребение при обычных условиях.

Эти взносы неодинаковы, и сообразно с этим клиенты «Стикса» делятся на несколько категорий. Перед лицом смерти всякие деления и группировки кажутся условными, но компания «Стикс» поступила бы коммерчески недобросовестно, если бы за неодинаковую плату предоставляла бы всем одинаковую степень комфорта. Общение клиентов высших категорий с низшими по желанию первых будет допущено, но не наоборот. Деление на группы будет сохранено до последнего момента, что соответствует желаниям самих клиентов, ибо ни у кого нет надобности в последние часы жизни заключать знакомства в непривычной среде.

Имеется большое число заявок со стороны многих молодых и старых особ. Среди них люди с широко известными именами: один сенатор, прославившийся участием в судебных процессах, одна известная актриса, желающая уйти со сцены в расцвете славы, один видный ученый, вызвавший сенсацию своим изобретением, но испортивший зрение во время работы над ним, один крупный промышленник, пришедший к идее самоубийства философским путем, и другие.

Списки клиентов, оставшихся в зоне разрушения, публикуются в бюллетенях «Стикса» и имеют характер официальной достоверности. Клиенты оставляют в канцелярии «Стикса» свои завещания, в запечатанных или открытых пакетах. Все их распоряжения впоследствии выполняются «Стиксом». Лица, желающие погибнуть анонимно или под вымышленным именем, могут не сообщать своего имени.

Заявки и вступительные взносы принимаются главной конторой и агентствами «Стикса». Число мест ограничено. Самоубийцы в возрасте до пятнадцати лет не допускаются.

Съезд в Бетане к началу двенадцатого оборота, между двадцатым и двадцать третьим числом текущего месяца».

22. ПУТЬ, УСЕЯННЫЙ ЦВЕТАМИ

В характере Смелта были черты, которые он называл загадочными. В своем бюро он привык изо дня в день наблюдать своих клиентов, следить, как заботы и недоедание заостряют их лица, делают их беспокойными, каждый раз урывают что-нибудь из их осанки и их одежды. Это был тот естественный ход вещей, который, к сожалению, не обходился без жертв. Смелт при этом был только зрителем. Он выполнял свою роль, но смешно было думать, что отдельный человек мог тут что-либо изменить.

Хуже было, когда он сам прикладывал руку, чтобы ускорить этот естественный ход. Среди его клиентов попадались люди, — один на сотню, почти всегда женщины, — которых он, повинуясь каким-то невольным побуждениям, задвигал из общей очереди и отвечал им отказами даже тогда, когда мог бы сказать что-нибудь более приятное.

Он сам удивлялся, замечая в себе эти черты жестокости, ибо считал себя незлым человеком. Естественный в этом случае вопрос: не есть ли это обычная подлость характера? — также приходил ему в голову, но после размышлений он отвечал на него отрицательно и предпочитал видеть в этом загадочную подсознательную работу своей противоречивой души.

Были улыбки, которые он не мог оставить безнаказанными. Некоторые молодые женщины в рваных башмаках выслушивали его рассуждения об естественном ходе вещей чересчур небрежно. Они не подозревали, как далеко завел их самих этот естественный ход, не догадывались, что для многих из них рваные башмаки будут гранью, за которой начнется проституция. Их самоуверенность восхищала его, но и она же приводила в движение загадочную половину его души, и он, почти против воли, лукавил с посылкой их на работу, с смутным желанием вплотную подвести их к этой грани.

Когда Анна приходила в бюро, он опускал глаза. Он был сластолюбив, но и застенчив. Его интонации делались робкими и взволнованными, но на вопрос о работе он грустно качал головой. Если Анна, не заходя в бюро, справлялась о работе по телефону, он жалел, что не видел ее. Он скучал, когда несколько дней подряд она не показывалась в бюро и не вызывала его к телефону.

Он, так же как и Скруб, заметил исчезновение шарфа с ее шеи и ощутил жалость и беспокойную совесть. Он решил, что ей надо дать передохнуть, и послал ее работать — на газ.

Кроме Анны, из конторы Смелта туда же пошли еще пятеро женщин.

— Работа будет нелегкая, — напутствовал их Смелт. — Машин нет. Придется повозиться с камнями. Могут встретиться трупы. Но никто ее обязан поднимать тяжести выше своих сил. Кто проработает больше двух недель, получит прозодежду.

Через день одна из женщин вернулась в контору. Она не выносила падали. Крюк и веревка, которыми приходилось растаскивать трупы, не держались у ней в руках. Смелт должен был снова взять ее на учет.

— Причина неуважительная, — сказал он недовольно. — Пададь попадается только в верхнем слое развалин, выше старого уровня зеленой воды. Трупы, которые попали в воду, давно растворились в ней и теперь никому не могут мешать.

— Теперь от них осталась плесень на земле, — сказала женщина. — Противно ходить по ней. Не знаешь, на что ступаешь: человек это был? или крыса? или может быть дерево? Когда идет дождь, плесень снова начинает шипеть.

Еще через день пришла другая женщина. Она работала на камнях и истрепала обувь.

— Там больше разорвешь, чем наработаешь. Это не работа...

Еще позже вернулись и третья и четвертая. Никто не был обязан подымать камни выше своей силы, но от величины камней зависела плата, и те камни, которые были

под силу этим женщинам, не оправдывали себя.

Смелт обычно не одобрял таких возвращений. Клиент, проработавший больше двух недель, считался поступившим на работу и должен был уплатить в его контору двухдневный заработок. Возвращающиеся не платили денег и путали очередь, и обычно Смелт принимал их на учет, помучив сначала проповедью о плохом состоянии рынка труда.

На этот раз он молчал. Он полагал, что вслед за другими придет и Анна. Он ждал ее. Он ожидал увидеть ее пришедшей и готовил для нее понимающую грустную усмешку. Но прошло десять дней, а она не появлялась, и тогда, отложив усмешку на будущее, он сам отправился в восьмой этаж на разведку.

Мотив посещения был достаточно правдоподобен.

— Ко мне поступают жалобы, — сказал он в тоне следователя, — от женщин, посланных на газ. По их словам, условия труда там недостаточно хороши. Вы знаете эти условия. Ваши показания помогут мне выяснить дело.

Он достал карандаш и бумагу и с скучающим видом приготовился записывать. Однако, скучая, он успел заметить многое из того, что ему требовалось. Анна выглядела вялой и посеревшей. На обеих руках указательные пальцы были обмотаны тряпочками. С больными пальцами сколько она могла заработать? Смелту не надо было расспрашивать, чтобы определить цифру: он отлично знал условия труда за проволокой.

— Условия действительно гнусные, — сказала Анна.— О работе по силам были только разговоры. Легких камней не бывает. Кроме того нельзя забыть, что они покрыты человеческим раствором. Платье рвется. Расценки такие, что женщинам там нечего делать. Я работаю, потому что у меня крепкие руки.

Смелт оглядел ее руки с удовольствием и в то же время с беспокойством. У себя в конторе он боялся клиенток с крепкими руками. Ему казалось, что они будут его бить. В самой глубине души он понимал, что он этого заслуживает.

— В нашей бригаде хорошо зарабатывает только один человек, — продолжала Анна. — Но он мародер. Он лазит

по этажам и находит кое-какие вещи. Его специальность — золотые зубы у трупов. Он выламывает их гвоздем. Не всякий пойдет на это.

— Мрачная картина, — соглашался Смелт, записывая. — Неудивительно, что женщины бегут оттуда.

Он писал и между делом замечал обстановку. Он увидел газету, закрывавшую кровать, голый стол. В комнате ничего не прибавилось к тому, что в ней было до вселения Анны: ни посуды на столе, ни книг, ни платья на стене. Ничего и не могло прибавиться у женщины, явившейся в Лондон с походным мешком за спиной.

Он прикинул в уме, во что ей каждый день обходится комната, — об этом ему также не надо было спрашивать ее — вычел эту цифру из дневного заработка, разницу разделил на стоимость фунта хлеба. Получилась цифра, вызвавшая у него усмешку.

Смелт верил в арифметику. Ему даже казалось, что пришло время извлечь на свет грустную и понимающую улыбку, которую он приберег для Анны. Однако, приглядевшись, понял, что улыбаться еще рано, что сейчас его улыбка не будет оценена Анной как следует.

Если б он был проницательнее, он бы понял, что улыбаться ему вообще не придется. Ибо, даже оставаясь в пределах арифметики, он увидел бы, что цифры были совсем не те, какие подсовывал естественный ход вещей. Другие люди, не спросясь его, внесли в его арифметику поправки.

За стеной сидел Брисбен, ожидавший, пока уйдет Смелт, чтобы возобновить работу аппаратов. Перед ним был листок с цифрами — отчет в расходах на содержание радиостанции. Одна из цифр обозначала стоимость комнаты Анны. Ибо станция могла работать лишь в том случае, если все три смежные комнаты были заняты подходящими людьми, и нельзя было ставить работу в зависимость от того, найдутся ли у них в нужный момент деньги. Стоимость комнаты Скруба также имелась в счете, но около нее стоял вопросительный знак, и она была перечеркнута.

Если б Смелт пошел дальше и заглянул в мемуары Скруба, он бы понял также, почему его цифра была вы-

черкнута из счета. Ибо всего лишь за день до этого Скруб записал:

«Поразительно! Только в большом городе бывают превращения. Я опротивел всем. Консул перестал принимать меня. Отмечаю как факт: я пытался продать путевую книгу. Но за нее мне предложили слишком мало. Я вернулся в «Шарлотту», радуясь, что эта причина помешала мне продать друга. Я был голоден. На мне не было ни одной тряпки, которая уже не была бы обменена дважды и трижды. Я осмотрел углы, где могли быть пустые бутылки, и на полу под дверью нашел телеграмму, которую прежде не заметил. Заседание президиума географического общества состоялось. Мне ассигнована сумма на новую экипировку и на окончание пути. Я получил несколько пачек денег. К сожалению, в этот день, когда я мог пообедать как следует, у меня пропал аппетит. Половину денег я отнес Анне Даррель. Я сказал, что даю их ей дружеской рукой. Она ответила, что ее дела не так плохи, и не взяла денег. Она была со мной очень добра»...

Если б Смелт знал все это, подсознательная работа его загадочной души остановилась бы сама собой. Когда было надо, он умел ее вовремя останавливать. Но он был во власти арифметики и, кончив деловой разговор, смягчил обследовательский тон и перешел на посторонние предметы.

— Если б я жил в вашей комнате, — сказал он, оглядывая стены и не собираясь уходить, — я бы устроил ее по-другому. Сейчас в ней слишком голо. Непохоже, что живет молодая женщина. Можно поставить на стол цветы, и она будет выглядеть иначе. В ней не хватает цветов...

— В этой комнате многого не хватает, — ответила Анна без желанья продолжать разговор.

И Смелт, поняв, что его ухода ждут, подобрался и отклонился.

Немного позже он сделал еще одну попытку подойти к ее душе. Через четыре дня исполнились две недели работы Анны за проволокой, и ей полагалось уплатить в его контору двухдневный заработок. Анна принесла деньги, но

Смелт, всегда охотно принимавший взносы, на этот раз усомнился в своем праве брать деньги.

— Разве мне с вас что-нибудь причитается? — удивился он, нерешительно отстраняя деньги. — Я должен подумать. Это была временная работа. Она не в счет. Вы уплатите мне позже, когда я найду вам действительно подходящую работу...

Он развел около денег небольшую дискуссию с самим собой. Он имел вдумчивый вид, словно прислушивался к голосу совести. И возможно, его право взимать деньги с людей, отправленных им на каторжную работу, действительно вызывало у него сомнения, но Анна, слушая его, думала, что он низкопробен и что от него надо отделаться.

Его тон был чересчур ласковым, чтобы стоило оставаться у него в долгу. Анна без слов пододвинула к нему деньги, и он нехотя опустил их в карман.

Некоторое время он возился с квитанцией.

— Не думайте обо мне плохо, — сказал он, прощаясь с Анной. — Есть деньги, которым я совсем не рад. Я не оставлю их у себя. В том или ином виде вы их получите назад. Я надеюсь еще раз увидеться с вами.

Он вернул их ей в тот же вечер. Он вспомнил, что в ее комнате не хватало цветов, и явился с букетом, рассчитав время, чтобы застать Анну дома.

В восьмом этаже он остановился у двери, держа букет за спиной. Он был смущен. По дороге его цветы вызывали у встречных усмешки. Для «Шарлотты» это был слишком громоздкий способ ухаживанья. Он находил, что немного не рассчитал формы подарка.

Анна из-за двери попросила его подождать. Он услышал стук в стену, шаги в соседней комнате. Ждать пришлось недолго, но прежде чем Анна пригласила его войти, открылась дверь, вторая от нее, и оттуда вышел взъерошенный человек, недружелюбно смотревший на него.

Смелт узнал Скруба, чудака и пешехода, с которым некоторое время назад провел вечер. На этот раз чудака вел себя странно, судя по его манере смотреть в упор и при этом шептать какие-то слова.

— Здравствуйте, Скруб, — сказал Смелт, переложив на всякий случай букет за спиной из правой руки в левую. — У вас такой вид, будто вы что-то хотите сказать?

Скруб действительно хотел что-то сказать. Но с ним случилась вещь, обычная в минуты волнения: он забыл английский язык. Китайская ругань подвернулась ему на язык скорее, чем английские фразы. Затем он некоторое время ругал Смелта по-скандинавски и, лишь заметив, что его возбуждение комично, напряг память и заговорил по-английски.

— Паршивый, проклятый черт! — оказал он, запинаясь и приставляя слово к слову. — Что вы нюхаете здесь?

Он заглянул ему за спину и увидел букет. Букет взбесил его.

— Насекомое! — вскричал он, забыв английское обозначение для пауков: — Насекомое с крестом на спине! Зачем вы принесли сюда цветы? Кого вы думаете купить здесь цветами?

Он выхватил у него цветы, и Смелт, отступая, оставил их в его руках.

— Я никого не думаю покупать, — сказал он, вообразив, что у Скруба есть права вмешиваться в дела Анны. — Сегодня утром особа, которая живет по соседству с вами, уплатила в мою контору двухдневный взнос. По некоторым причинам, я не хотел брать этих денег. Я решил вернуть их ей в какой-либо форме. Я выбрал форму приятную для молодой женщины. Но я только возвращаю ей долг...

— Если это ее собственные деньги, — закричал Скруб, сообразив механику подарка, — то почему вы не купили мяса или молока? Почему вы принесли эту чепуху? Или вы привыкли делать подарки женщинам за их собственный счет?

Он пошел в наступление на Смелта, размахивая букетом, который он держал как веник. Из дверей выглядывали люди. Смелт приготовился быть битым. Его выручила Анна.

— Успокойтесь, Скруб, — сказала она, взяв пешехода за рукав. — Дело касается меня. Я сама могу защитить себя.

Этот человек пока не сказал ничего плохого. У меня нет повода его бить. Пусть уходит и уносит цветы.

— Мне жаль, что вы так приняли мой подарок, — с горечью сказал Смелт.

Но Скруб повернул его к выходу, и он понял, что ему лучше уйти. Скруб погнался за ним, подстегивая его букетом, как корову, забравшуюся в неподходящее место.

Смелт шел не оглядываясь. Его путь был усеян цветами, с той разницей, что цветы эти сыпались после его прохода, отскакивая от его зада.

Когда Скруб, выгнав его на лестницу, вернулся к Анне, он был в веселом и спокойном настроении и снова мог свободно говорить на английском языке.

— Это был паук, — сказал он, значительно показав в сторону лестницы, — противнейший паук! Вы и не догадываетесь, какие у него были планы насчет вас...

— Догадываюсь... — ответила Анна.

23. ЛАМПОЧКА ТЕМНОТЫ

В списке компании «Стикс» Тарт отметил ученого, потерявшего зрение при работе над своим изобретением. Этот признак мог относиться лишь к небольшому кругу лиц. Не был ли это Гелл Синтроп, ради которого он приехал в Америку? И если это был он, то почему он выбрал именно смерть под колесом?

Синтроп состоял профессором университета в Оклахоме. При университете была лаборатория его имени. Тарт, отправившись туда, узнал лишь, что профессор уже пять месяцев не посещает университета. Он разыскал его частное жилище в доме, состоявшем из квартир для холостяков и небольших семейств. Он отрекомендовался иностранцем, приехавшим в Оклахому специально, чтобы поговорить с профессором, но слуга, открывший ему дверь, встретил его как личного врага.

— С профессором нельзя разговаривать, — объявил он, загораживая ему путь. — Профессор кончил разговаривать. Он ослеп. Он в отставке. Какие могут быть с ним разговоры?

— Но я приехал издалека, — сказал Тарт. — Я сделал несколько тысяч верст...

— А кто вас просил их делать? — вскипел слуга. — Зачем вас принесло? У всех вас один ответ: профессор Синтроп — гений и вам надо с ним поговорить. Точно с гениями обязательно надо разговаривать? Да и кто вам сказал, что он гений? Я неученый человек, а знаю, что гением у нас сейчас Эдисон, и значит, место занято. Но вам этого не втолкуешь. Вам хочется говорить с профессором. А обо мне-то вы подумали? Есть у меня время на ваши разговоры с профессором? Ведь я вас не знаю. Я не могу оставить вас наедине с слепым человеком. Я должен сидеть и смотреть, чтобы вы вели себя хорошо и не лазили по ящикам за чертежами. А в это время моя работа будет стоять? Ведь я у профессора один: я и подай, и принеси, и налей, и подо-

три. Мне не разорваться!

— Нет, господа, — продолжал он, точно отстраняя целую толпу посетителей, — уезжайте домой. Предоставьте мне знать, кто гений и кто не гений. Решительно объявляю: у меня нет времени на разговоры, меня тошнит от разговоров.

— Скоро ли ты, Эварт? — послышался голос из глубины квартиры, жесткий рупорный голос, от которого слуга вздрогнул и заерзал на месте. — С кем ты там? Я жду.

— Слышите? — спросил слуга, понизив тон. — Это профессор. Гений орет, чтобы ему дали есть. Неприятный голос у гения. Надо идти.

И так как Тарт продолжал стоять перед дверью, к нему неожиданно вернулась его прежняя злость.

— Нельзя, нельзя! — прокричал он на высоких нотах и захлопнул дверь. — Сколько раз вам повторять...

Судя по переменам настроения, этот человек был достаточно бестолков. От него можно было ждать, что через полчаса, он заговорит иначе. Тарт, вместо, того чтоб спуститься вниз, поднялся этажом выше и стал ждать.

Немного погодя дверь Синтропа открылась снова, и Эварт вышел на лестницу с обеденными судками в руках. Голос изнутри квартиры кричал что-то вдогонку.

— Сейчас, сейчас, — оказал Эварт в дверь, которую он для скорости прикрыл, но оставил незапертой. — Не волнуйтесь, профессор. Через три минуты обед будет на столе.

— Жрет и жрет... — ворчал он, спускаясь по лестнице. — Делать ему нечего, оттого и жрет. Наедается за все предыдущее.

Тарт отворил дверь и вошел в квартиру. Во второй комнате у стола с небранной посудой сидел человек, лысый, с массивным прямым профилем, и шарил руками по скатерти, ощупывая еду и бутылки. Он сопел и урчал, не находя того, что ему требовалось.

Стол был круглый, с барьером по краям, чтобы тарелки во время его поисков не валились на пол. Мутные стаканы, грязные вилки, скатерть со следами соуса показывали, что переутомленный Эварт считал эту сторону дела второсте-

пенной.

Синтроп нашел бутылку, которую искал. Он налил себе вина, держа пальцы левой руки внутри стакана, чтобы чувствовать уровень жидкости. Затем, не вытирая пальцев, он разыскал сыр и отрезал себе кривой ломоть. Рыбья чешуйка прилипла к сыру с одного края. Он выпил и закусил и, проглотив чешуйку, почувствовал посторонний вкус.

Эварт мог прийти каждую минуту. Надо было приступить к разговору. Тарт пошевелился, чтобы дать о себе знать.

— Это ты, Эварт? — спросил Синтроп. — Отчего от сыра пахнет селедкой? Ты опять не мыл тарелок?

— Я не Эварт, — сказал Тарт. — Я другой человек. Я пришел по делу и нашел дверь открытой...

Синтроп, обнаружив около себя чужого человека, не скрыл неудовольствия. Он сердито вздохнул и опустил руку в карман.

— Я ничего не могу поделать с болваном, который оставляет двери открытыми, — сказал он, вертя в руках предмет, который он вынул из кармана. — Мой Эварт — безнадежный болван и переделывать его поздно. Но я могу проучить болванов, воображающих, что в квартиру слепого человека можно входить не постучавшись и расхаживать как у себя дома.

Тарт услышал треск, точно щелкнул тугой электрический выключатель, и почти сейчас же лицо Синтропа и стены комнаты начали мутнеть перед его глазами. Он протер глаза, с неприятным ощущением человека, у которого зрение шалит. Но предметы продолжали мутнеть. Чернота клубами расходилась в воздухе и закрывала их от него. Затем, в сомкнувшейся тьме, он перестал что-либо различать. Он видел только, что чернота продолжает стучаться. У него было чувство, что он потерял зрение.

Голос Синтропа привел его в себя.

— Это мой единственный способ самозащиты, — сказал он. — Ничего особенного не случилось. Если вам известно мое имя, то вы слышали и о лампочке темноты. Сейчас вы видели ее в действии. Садитесь там, где стоите. Не удивляйтесь, если температура в комнате несколько поды-

мется. Не думайте о бегстве. Если вы выскочите на свет, вы ослепнете. Посидим в темноте, подождем Эварта.

Тарт нащупал стул и сел. У него кружилась голова. Он понимал, что его зрение осталось при нем, но тоскливое чувство не проходило. Впервые его окружала темнота, до такой степени черная. Даже в Палермо, в крепостных галереях, памятных ему по недавнему побегу, в глухих боковых ходах, куда не проникал никакой свет, темнота не так страшила его, как в этой культурной комнате, где еще минуту назад было светло и солнце падало сквозь большие окна. Просветы окон, которые сначала висели во тьме бледными четырехугольниками, потускнели и слились с общим фоном. Тарт оглядывался кругом и не мог найти их.

Занятый своими ощущениями, он ее сразу заметил, что температура в комнате поднялась. Он почувствовал пот у себя на лбу, но приписал это своему волнению. Неожиданно резкая струйка тепла задела его лицо и рассеялась вокруг.

— Становится жарко, — сказал Синтроп. — Это значит, что комната достаточно затемнена. Сейчас я потушу лампочку.

Он еще раз щелкнул выключателем. Горячие струи в воздухе потеряли плотность, но темнота осталась прежней.

— Поговорим о деле, — сказал Синтроп. — Кто вы? Зачем вы ко мне пришли?

Тарт молчал. Ответ надо было еще придумать.

— Я агент компании «Стикс», — ответил он, когда молчание затянулось.

Ответ был жестоким, но он вводил разговор в колею. У него могло быть два продолжения. Или Синтроп останется спокойным и скажет: «Не знаю такой компании», и это будет значить, что реклама «Стикса» говорила не о нем. Или же он смутится и выдаст себя вопросами: «Почему вы приехали раньше времени? Я вас ждал только через неделю. Разве сроки передвинуты?»

Синтроп вздохнул после его слов, один раз, тяжело и с хрипом, но не стал задавать вопросов. Он долго молчал, и

Тарт напрасно вслушивался в его дыхание: это была обычная одышка грузного человека.

— Вы самозванец, — сказал он потом с спокойным убеждением. — Сомнительная личность. Вы читаете рекламы и узнаете названия фирм. Но вы не знаете, как ими пользоваться. У меня есть дела с разными фирмами, но их доверенные, являясь ко мне, прежде всего говорят свой пароль. Это предосторожность слепого человека. Вы не догадываетесь о паролях. Кроме того, вы не умеете лгать. Челюсти скрипят у вас, когда вы лжете. Не раздражайте меня. Говорите прямо, в чем у вас дело. В двух словах и только правду. Если я услышу у вас фальшивую ноту, я дам контрсвет в комнату, и это отразится на вашем зрении.

— Я агент комитета колеса, — сказал Тарт покорно. — Я работаю в восточной Европе. Я ищу человека, который изобрел колесо. Я приехал к вам, потому что вы один из немногих, кому эта задача по силам.

Синтроп гулко рассмеялся.

— Ко мне уже приходили с этим делом, — сказал он почти добродушно. — И не только с этим. Народ шатается ко мне по всякому поводу. Если я изобрел лампочку темноты, то почему я не предсказал землетрясения в Итаке? Почему не выгнал саранчи из Канзаса? Они не понимают, что с меня вполне достаточно моей лампочки. Таким людям полезно побеседовать с Эвартом. Они приписывают мне слишком много гениальности. Эварт отказывает мне даже в той, какая у меня есть. С его точки зрения я только порчу предметы. Когда он увидел лампочку темноты в действии, он сказал: «Как же это вы так ухитрились испортить лампочку, что она не только не светит, но даже наоборот»...

— Итак, — сказал Тарт, — не вы пустили колесо?

— Не я.

— И у вас нет никаких догадок, кто бы это мог быть?

— Догадки есть. Я не был бы химиком, если б не строил по этому поводу догадок. Но конечно, это догадки слепого старика, без книг, без лаборатории, без свежей литературы. Мне даже казалось, что я знал этого человека. Лет шесть назад меня в этой комнате посетил один химик из Европы

и высказал взгляды, которые сейчас отчасти осуществлены в колесе. Не стану называть его фамилии, а то вы полетите неведомо куда и будете надоедать ни в чем неповинному человеку. Потому что на самом деле это был не он. Он был слабоват для этого дела. Между тем изобретатель колеса заслуживает стоять рядом со мной и Роденом...

Входная дверь хлопнула. Вернулся Эварт.

— Опять эта темнота... — бормотал он, не входя в комнату. — Господин Синтроп, не пугайте людей. Из окон идет дым, а ничего не горит. Подождите, пока я одену очки.

— Захвати еще одну пару очков, — крикнул Синтроп. — Напротив меня на стуле сидит человек. Надень на него очки и выведи наружу. Пусть уходит вместе с очками. Это молодой человек. Будет жаль, если его зрение пострадает.

У Эварта, по-видимому, уже бывали дела с посетителями, сидящими в темноте. Он безошибочно нащупал Тарта, насадил на него очки и потянул за плечи к выходу. Его порывистая манера была бы обидной, если б в то же время он не давал Тарту дружелюбных советов, как защитить глаза при переходе на свет.

— Жмурьте глаза! — говорил он, подталкивая его к дверям. — Жмурьте глаза, чертов сын! Когда выйдете наружу, не сразу открывайте их. Не надейтесь на очки.

Он захлопнул дверь и оставил Тарта на лестнице. Тарт некоторое время стоял не двигаясь, с закрытыми глазами. Когда, понемногу раздвигая веки, он начал видеть предметы, он испытал глубокое облегчение. Втайне, все время, пока он сидел в темноте, его не оставляла мысль, что он потерял зрение.

На улице, прямо от Синтропа, он повернул в бюро компании «Стикс». Компания набирала служащих для отеля в Бетане, с обязательством оставаться в зоне разрушения до последнего автомобильного рейса. Риск отпугивал претендентов, и Тарт без труда получил место в обслуживающем персонале. Оставалось ждать шесть дней. Эти шесть дней стоило потратить, чтобы еще раз поговорить с Синтропом.

24. НЕ ВЫ ЛИ АВТОР ЭТОЙ КНИГИ?

Город Бетан готовился к встрече колеса. Жители потели около грузовиков, накладывая на них мебель и имущество, оконные рамы и двери, а иногда и стены домов, вывозя все, что могло оправдать расходы на перевозку и хранение. Дома ободранном виде оставлялись на растерзание колесу.

Около отеля, занятого «Стиksom», также стояли грузовики. Отель со всем содержимым предназначался в жертву колесу, но было бы грешно дать погибнуть многим заключающимся в нем ценным вещам: коврам, серебру, штофным обоям, которые под шумок вывозились и заменялись декоративной роскошью.

Город на глазах у людей наполнялся мусором. Водопровод, машины которого уже были разобраны, не работал. Магазины, без окон и вывесок, допродавали остатки. Походные кухни наскоро кормили жителей, как солдат отступающей армии.

И однако, если это было отступление, то отступление планомерное. Какие-то люди уже намечали места для пристаней на будущем канале и подсчитывали возможный грузооборот. Инженеры пробовали грунт для будущих мостов, а камень от развалин перевозился в заранее выбранные пункты, как материал для будущих перемычек.

За три дня до прохода колеса в Бетан стали прибывать пассажиры, странные пассажиры, приезжавшие в город, из которого все как раз уезжали. В сутки через Бетан проходило восемьдесят пар поездов, и каждый из них сбрасывал двух-трех чудаков в костюмах для загородной прогулки, с небольшими саквояжами в руках или совсем налегке. Они задерживались на платформе, как люди, которые не знают дороги, во и не хотят о ней спрашивать. Затем они натыкались на плакат «Стикса» и на стрелки, указывавшие путь, и у плаката косились друг на друга, догадываясь, что приехали в Бетан по одному делу.

Они вступали в подъезд «Стикса» с решимостью, точно сейчас же за порогом их ждала гибель. На самом деле, в подъезде их встречал контролер, отбиривший билеты и провожавший их наверх, а там их ожидали разговоры о постельном белье, правила внутреннего распорядка, преискурранты вин и кушаний и прочая отельная рутина.

Такова была инструкция «Стикса» для служащих: никаких намеков, никакой интимности, ничего лишнего, точное соблюдение правил, как если б дело шло о нормальном обслуживании нормальных гостей. Единственным исключением был плакат, предупреждавший гостей о том, что в последние полчаса их пребывания в отеле они, к сожалению, останутся без обслуживания. Кроме того, гости обязывались носить в петлице жетон с своим регистрационным номером и девизом «Стикса».

В общих комнатах о колесе напоминали экраны с картой мира и черной точкой на Атлантическом океане, незаметно подвигавшейся к Америке. Но такие экраны встречались во многих домах, где интересовались колесом. Главная обсерватория следила за его передвижениями и, из-за тридевяти земель, перемещала черную точку.

Два человека, молодой и постарше, сошлись в один из этих дней перед плакатом «Стикса» на вокзале. Молодой покосился на старого и без особого дружелюбия прикоснулся к шляпе.

— Если не ошибаюсь: Л. Ормон?

— Совершенно верно, — ответил старый с готовностью. — А кто вы?

— У меня нет фамилии, — сказал молодой. — Я — П. П. Под этими инициалами я работаю в «Солнце». Именно в редакции «Солнца» мы с вами и встречались.

Старый еще раз улыбнулся, давая понять, что он вспомнил, с кем имеет дело. У него было бритое рыхлое лицо и взгляд острый, но уже несколько благостный.

Беседуя, они двинулись к «Стиксу». Ормон с интересом наблюдал суматоху переселения, разглядывал скарб на грузовиках, заходил внутрь оставленных домов. Молодой был задумчив и не обращал на эти вещи внимания. Его взгляд

обходил сцены переселения, — необычные и очень интересные, — но был цепок по отношению к таким повседневным вещам, как облака, деревья, солнечный свет. В одном месте, когда Ормон слишком долго оставался внутри дома, он пошел его разыскивать и увидел, что тот стоит у подоконника и набрасывает заметки в блокноте.

— Я так и думал, что вы приехали сюда за материалом, — сказал он, усмехаясь.

— Да, я надеюсь здесь добыть материал, — ответил Ормон. — Но главная моя задача не в этом: я приглашен «Стиксом» проводить беседы с самоубийцами. Я должен разубеждать их доводами психологии, морали, литературы.

— Что касается литературы, — сказал молодой, когда они пошли дальше, — то это вам будет нелегко. Ваш собственный «Несчастный Айра» кончает самоубийством. И надо сказать, «Айра» вышел у вас убедительным.

— «Несчастный Айра» — мой первый роман, — отозвался Ормон с неудовольствием. — Я написал его пятнадцать лет тому назад. В то время я был безработным и был склонен к преувеличениям. Я пострадал за «Айру». Я отсидел за него шесть месяцев и давно поставил на нем крест.

— Напрасно. «Айра» — одна из лучших ваших вещей.

— Не спорю. Но сейчас я далек от этих мыслей. Жизнь изменила меня. Я стал шире. Я вижу в ней то, чего прежде не замечал.

— Это верно, что вы изменились. Остальные романы у вас в другом роде. Я слышал даже, ваши последние книги рекомендованы комитетом общественной морали?

Ормон кивнул головой и замял разговор. В вопросах его спутника была ирония, а он не выносил иронии, когда речь шла о его книгах.

— А вы зачем тут? — спросил он потом. — Тоже за материалом? Вас командировало «Солнце»?

— Нет, — ответил молодой. — Я здесь по собственной воле. Я — обыкновенный клиент «Стикса». Дело в том, что я не случайно выбрал своими литературными инициалами буквы П. П. Этими же буквами доктора обозначают мою болезнь — прогрессивный паралич.

Ормон оглядел его впалые щеки и стеклянные глаза и опустил голову.

— Не стану оспаривать ваше решение, — сказал он мягко. — Для этого я слишком плохо подготовлен. Если говорить правду, моя задача в «Стиксе» пугает меня. Что я скажу этим людям? Что я знаю о них? Когда я читаю в газетах сводки самоубийств, с фамилиями, возрастом и адресами, я всегда испытываю удивление: какие-то люди действительно не желают жить. Мне их психика непонятна. Я был бы вам очень обязан, если б вы подробно рассказали мне о себе. Может быть, вопрос стал бы для меня яснее.

Они подходили к дверям «Стикса». Ормон искательно взглянул на своего спутника.

— Могу ли я на вас рассчитывать?

— Пожалуйста, — ответил тот, усмехаясь. — Хоть мне и не очень хотелось бы служить материалом для романа, одобренного комитетом морали...

Контролер разлучил их. Он направил Ормона к главному администратору, а молодого проводил в третий класс и прицепил ему жетон № 641.

Ормон, едва отдохнув, отправился по коридорам изучать свою паству. Он начал с салона первого класса. Здесь находились фигуры первого плана, обещанные «Стиксом»: сенатор, актриса, промышленники. Не хватало ученого, потерявшего зрение.

Сенатор был старик с просветленным лицом. Он направлял разговор в группе мужчин. Он умел делать разговор занимательным. Они достигали этого простым способом. Он знал много людей с большим официальным положением, и если его слушатели, занятые своими мыслями, делались рассеянными, достаточно было назвать какое-нибудь крупное имя, чтобы они взбадривались. В обычное время Ормон считал бы его болтливым. Но матовый экран над его головой с черной точкой вблизи американского берега делал его скорее величественным. Возможно, что он показывал пример, как надлежит умирать джентльмену: с улыбкой и не теряя нити разговора.

Ормон пересел в угол, где была актриса, желавшая уйти со сцены в расцвете красоты. Он подумал, что она могла бы это сделать еще десять лет назад. При ней были провожатые, и один из них с маленьким съемочным аппаратом на груди. Ее уход переносился на пленку. Она сожгла в камине какое-то дорогое ей письмо, и так как оператор не успел снять этот момент, она повторила тот же номер с обыкновенным куском бумаги.

Промышленник, пришедший к идее самоубийства философским путем, оказался грубым человеком с приемами аукциониста. Войдя в салон, он оглядел стены, провел пальцем по карнизу и с хохотом объявил:

— А ведь бордюрик-то срезали!..

И объяснил, что прежде тут были шелковые обои и золотой бордюр, которые конечно вывезены. Он считал это надувательством со стороны «Стикса», обещавшего клиентам всю прежнюю обстановку.

В верхнем салоне церковный проповедник ораторствовал перед группой самоубийц второго класса. Ормон подошел послушать.

Проповедник развивал собственную теорию колеса. Он говорил, что колесо послано богом не за грехи Америки, что Америка страдает лишь рикошетом, ибо колесу надо совершать полные обороты, чтобы лучше разбежаться и как следует поработать в Европе и Азии. Он кончил призывом к слушателям разойтись по домам.

— Кто верит в бога, — кричал он, — тот уйдет отсюда вместе со мной...

Он не давал аудитории уснуть. Он вырывал отдельных людей из толпы, требовал от них ответа.

— Вы верите в бога? а вы? а вы?

Большинство избегало отвечать на этот вопрос. Ормон, когда вопрос был задан ему, сказал:

— Я верю в общую гармонию.

— Это все равно, — обрадовался проповедник. — Вы на правильном пути. Мы пойдем друг друга. Дайте мне вашу руку.

Ормон протянул ему руку, и проповедник пожал ее. Затем он закричал: «За мной!» и двинулся к выходу, пламенно оглядываясь на толпу и таща Ормона за собой. Только в коридоре Ормону удалось отцепиться от него и выяснить недоразумение.

Он поднялся в третий класс. В общих комнатах люди стояли у окон, лежали на кроватях, молились богу, принимали пилюли, раскладывали пасьянсы, брились, выдавливали прыщи. Они смотрели друг на друга как пассажиры дальнего следования, с умеренным дружелюбием и в меру откровенничая. Пьяных было не больше, чем при обычных людских скопищах, хотя «Стикс» в этом отношении никого не стеснял. Люди, игравшие в карты на деньги, не скрывали желания выиграть. О самом главном не разговаривали. Приличия соблюдались. Неотесанный субъект, совавший окурки в цветы и плевавший на пол, вызывал неудовольствие, ибо как будто показывал, что приличия не нужны при столь исключительных условиях. Женщин было немного, и совсем мало — молодых женщин.

Ормон недоумевал. Он ожидал увидеть неудачников с собачьими глазами и в чужом платье, но увидел лица, скорее внушавшие ему робость. Его пугало, что они были так обыденны. Их выдавали только взгляды в направлении черной точки на экране. Он старался втиснуть этих людей в газетные столбцы рядом с фамилиями и адресами и с неудовольствием видел, что они там не умещаются.

В третьем классе было шумно. Контролер ловил безбилетного самоубийцу, проникшего в «Стикс». Практический деятель, обещанный рекламой, убеждал людей оставить свои безумные намерения.

— Ребята! — кричал он. — В чем дело? Откуда такая крайность? Как глупо умирать, когда строительные конторы нуждаются в рабочих. То самое колесо, от которого вы ждете гибели, может дать вам работу. Объявляю, что те, кто захочет уйти со мной отсюда, получают от меня записки и будут немедленно приняты на работу.

Он покричал десять минут и увел с собой двоих.

Гораздо меньше успеха имел больной с прогнившими внутренностями, не желавший умирать. Он был нанят «Стиком», чтобы на нем другие видели, как надо цепляться за жизнь. Он сам рассказывал свою историю и прославлял жизнь, заражая воздух зловонием. Ормон постоял около него минуту и отошел, боясь, чтобы не повторилась та же история, что и с проповедником. Неотесанный субъект, стоявший тут же, громко советовал больному покончить с собой в спешном порядке.

— Это грубо, — сказал ему Ормон, радуясь случаю начать пропаганду. — Он прав. За жизнь надо держаться до последнего дыхания.

Тот отмахнулся:

— Этому человеку не за что держаться.

Неотесанный субъект сам хотел разговаривать. За день перед этим с ним случилась забавная и необъяснимая история: под ним обрушилась кровать. Обрушилась в тот самый момент, когда он готовился в последний раз в жизни испытать плотские наслаждения. Между тем, чтобы разыскать женщину, он приехал из другого города и потратил много хлопот.

— Не знаю, как ты, старик, — сказал он Ормону, — а я перед смертью решил разыскать свою бабу. Я хотел проститься с жизнью как следует. А что получилось? Кровать - провалилась. Я выскочил на улицу. Теперь мне смешно, тогда мне было страшно. Объясни, что это может означать?

Философия Ормона не годилась для таких случаев. Он промолчал и прошел дальше. Рядом с собой он увидел молодого человека, красивого, здорового, с измученными глазами. Он сидел в кресле и разглядывал жетон в петлице своего пиджака. Там был его номер — 807 — и над ним девиз «Стика».

— Жизнь прекрасна! — прочел он вслух, устало и без иронии.

— Жизнь прекрасна! — повторил за ним Ормон, но с горечью, ибо считал этот тон более подходящим для самоубийцы.

Восемьсот седьмой поднял голову и с сомнением прислушался к его голосу.

— Мне жаль, что мошенники из «Стикса» испоганили эти слова, — сказал он, — но сами по себе они совершенно справедливы. Жизнь действительно прекрасна.

— В таком случае, зачем вы здесь?

— Есть причины...

Ормон приступил к делу. Он назвал себя и истинную цель своего прихода в «Стикс», расспросил молодого человека о его жизни, рассмотрел вопрос о самоубийстве с философской стороны, двинул в ход статистику.

К его удивлению, молодой человек легко соглашался с его доводами. Он сам знал статистику вопроса и не сомневался, что жить на свете стоит даже при тяжелых условиях. Но когда Ормон в заключение спросил его, готов ли он уйти из «Стикса» вместе с ним, ответил отказом.

— Я останусь здесь...

— Но почему? — удивлялся Ормон.

— Есть причины...

Он посмотрел на экран и на черную точку, которая уже вползла на материк, и сказал:

— Мне осталось жить одиннадцать часов с минутами. Увольте меня от лишних разговоров ...

В углу салона, где помещалась библиотека, сидел № 641 и читал газету. Ормон подошел и остановился сзади. Он задал себе вопрос в общей форме: какие отделы газет больше всего интересуют самоубийц за одиннадцать часов до смерти? Он заглянул через плечо. 641 читал объявления: моторы и котлы, миллиметры поперечников и лошадиные силы, спрос и предложение. Все это был завтрашний день, которого у него не могло быть.

— Мне нравится, как ловко в газете одно пригнано к другому, — сказал 641, заметив недоумение Ормона. — И какое уменье оттенять смысл! В трех строках вы увидите пять разных шрифтов, и каждый взят неспроста...

— Вы мне позволите записать эти ваши слова? — сказал Ормон, вынимая книжку и перо. — Мне кажется очень характерным, что именно эти вещи занимают сейчас ваши

мысли.

Но он не успел дописать заметку до конца, как 641 заговорил с ним другим тоном:

— Вы плохой писатель, Л. Ормон. Вы не заслуживаете того, чтоб живые люди служили материалом для ваших романов, — вы их обслюнявите и переверете. Но лучше быть с вами правдивым, чтоб вы меньше врали. Меня ничуть не интересует то, что я сейчас читаю, и я никогда в жизни не восхищался газетными шрифтами. Обратите внимание на женщину, которая сидит на диване в углу. Она мне нравится. По природе я трус, женщины не замечают меня. При этом я самолюбив, боюсь прямых путей, легко падаю духом. Я думал, что перед смертью у меня хватит смелости подойти к женщине и сказать, чего я хочу. Смелости не хватило. Я решил успокоиться, прочесть два столбца объявлений и снова собраться с силами. Я прочел восемь столбцов и остался на месте. Но рыжий человек, которого вы видите около женщины, подошел к ней и заговорил, конечно, о том же самом. Я его немного знаю: он грубоват и неумен, но по сравнению со мной он все-таки существо высшей породы.

Ормон прислушался к разговору в углу. Рыжий был деловит. Женщина слушала его с любопытством и без волнения.

— Это все равно, — ответила она. — Но есть препятствие: вы мне не нравитесь.

Рыжий удивился и отошел.

— Попытка не удалась, — сказал Ормон, улыбаясь. — Вы видите, что прямые пути не всегда ведут к цели. Потому что жизнь на самом деле сплетение кривых путей. Люди умом угадывают их равнодействующую, но ногами месят грязь по всем извилинам, куда они их ведут. В этом очарование жизни. Если б человечество выправило кривизну, оно выиграло бы во времени, но потеряло бы охоту жить. Вы жалуетесь на отсутствие в вашем характере примитивной смелости, на самом деле это означает только, что культурно вы более высокий тип...

— Не разводите бобов, — сказал 641 со скукой. — Ходите сами по вашим кривым путям, подымайтесь культурно на

какую угодно высоту, но не думайте, что вы этим соблазните человека, который две недели не ел как следует, чтобы сэкономить на взнос в «Стикс». Парадоксы хороши на сытый желудок. Поэтому-то я и не приобрел к ним склонности.

— То, что я говорил о равнодействующей, — возразил Ормон, — совсем не парадокс. Умение найти эту равнодействующую и составляет секрет жизни. И это совсем не трудно, стоит только раз внимательно прислушаться к ее ритму. Вы и остальные собравшиеся здесь удивляете меня именно тем, что не понимаете этого. Вы представляетесь мне людьми, которые всю жизнь прожили зажав уши. Стоило бы вам на минуту вынуть пальцы из ушей и прислушаться, и вы бы отказались от вашего бессмысленного и непонятного намерения...

— В самом деле? — усмехнулся 641. — Наши намерения вам совершенно непонятны?

Он встал, подошел к библиотечному шкафу и оглядел полки.

— Виноват, — сказал он, доставая небольшую скудного вида книжку, — не вы ли автор этой книги?

Ормон узнал своего «Несчастливого Айру».

— Писатель не стоит на месте, — сказал он, стараясь быть кротким. — Он растет и вместе с ним растут его мнения. Только ограниченные люди считают достоинством, если человек двадцать лет долбит одно и то же.

— Но все-таки, — настаивал 641, — ответьте на вопрос прямо: не вы ли автор этой книги?

— Я... — резко ответил Ормон. — Вам доставляет удовольствие ловить других на противоречиях. Мне жаль, что вы тратите на это свои последние часы. Решительно каждого писателя можно попрекнуть какой-нибудь его неудачной книгой.

— А если это была ваша единственная удачная книга?

Ормон решил, что с него довольно дерзостей и не ответил.

— По-видимому, нам больше не о чем говорить, — сказал он корректно. — Я напрасно старался переубедить вас.

Это бесполезно. Однако наша беседа не пропадет даром. Если разрешите, я отмечу у себя в книжке весь этот эпизод. Он характерен.

Он снова стал писать в книжке. Это было исполнением обязанностей и в то же время худшей мезью. 641 следил за его работой с беспомощным перекосившимся лицом.

Его выручил неотесанный субъект. Этот человек знал, что самоубийцам нечего записывать в записные книжки, и застав Ормона за этим занятием, он почувствовал к нему нерасположение.

— Товарищи! — закричал он, накладывая руку на развернутые страницы. — Среди нас репортер. Как с ним поступить? Этот человек будет описывать нашу смерть и намерет, потому что не будет присутствовать при ней. Не обидно ли это? Давайте, запрем его где-нибудь и продержим до колеса, чтобы он собственными глазами увидел, как все будет происходить.

Он шутил, но его шутки были грубоватые и не ограничивались словами. Он вытащил Ормона из-за стола. Какой-то лысый молодой человек с номером 306, смеясь, помог ему. Вдвоем они дотащили Ормона до уборной, где и заперли его на наружную задвижку. Вмешательство других присутствующих освободило Ормона, и хотя дело кончилось смехом, Ормон испытал несколько тяжелых минут и был напуган. Кто знает, каково будет настроение в следующий час? Если его свяжут, запрячут под замок, он будет беспомощен. Он признал свою миссию неудавшейся и двинулся вниз, в кабинет директора, просить машину для отъезда.

По дороге, в нижнем коридоре он наткнулся на процессию: двое служащих «Стикса» вели под руки массивного молчаливого человека в синих очках, по-видимому слепого. Он дал ему дорогу, припомнил портреты в журналах и без труда догадался, кто это был.

25. ПОПУТЧИКИ

Флийс, директор «Стикса», не был удивлен, когда Ормон сказал ему, что считает себя неудачным агитатором и хочет уехать.

— С этой публикой надо уметь ладить, — сказал он с улыбкой мудреца, достаточно опытного, чтобы понимать изнанку дела, достаточно мелкого, чтобы не скрывать удовольствия от собственной проницательности. — Перед смертью им приходят в голову фантазии. Одним кажется, что об их смерти можно говорить только стихами, другие совсем запрещают ее касаться. Нормальный человек никогда не поймет, чего они хотят.

— Я не видел здесь молодых женщин, — заметил Ормон. — По моей статистике их должно бы быть больше.

— Их и было бы больше, если б мы не старались от них освободиться. Они нерентабельны. Их удел — минутный аффект и дешевые способы самоубийства. Кроме того, мы не можем получать плату в рассрочку или взыскивать ее с их родственников.

— А какие самоубийцы рентабельны?

— Строго говоря, — поправился Флийс, — рентабельных самоубийц нет. Мы создали большое дело, но в сущности мы — филантропы. У нас громадный штат, музыка, автомобили. Для отеля в Бетане нам пришлось ставить специальную водокачку. Настоящие самоубийцы не окупили бы всех затрат. И если б не было попутчиков, мы не смогли бы существовать.

— Попутчиков? — переспросил Ормон, не слишком удивленно, чтобы не дать заметить, что он не догадывался об их существовании.

— После катастрофы мы публикуем списки покончивших с собой. Они имеют официальную силу. Мы рассылает по адресам тысячи пакетов с завещаниями, уведомлениями, прощальными приветами. Есть много людей, которым выгодно считаться умершими, не умирая на самом деле.

Они сидят в «Стиксе» до последнего автомобиля, попадают в списки и исчезают, заранее подготовив себе отступление. Впоследствии они воскресают в другом месте под новым именем. В первом классе сейчас сидит компания банкротов. Если бы вы стали им проповедовать о высокой ценности человеческой жизни, вы бы напрасно потратили время. Они знают это лучше вас. Некоторые из них так дорожат жизнью, что даже не явились сюда лично и прислали подставных лиц. По салонам шатается и щупает мебель субъект, зарегистрированный у нас как фабрикант Гарви. Судя по его ухваткам, это личность с базара. Гарви мог бы нанять более подходящего человека. В свое время он тоже исчезнет.

— Я обратил на него внимание, — подтвердил Ормон.
— В салоне самоубийц он явно не на месте. Особенно рядом с актрисой или сенатором.

Флийс улыбнулся.

— Что касается актрисы, то и она тоже останется жива. Могу вам сказать, что сегодня она вызывала доктора, жаловалась на плохое пищеварение и взяла от него запас пилюль на три дня. Ее не смутило, что из этих трех дней два придется на загробное существование. Ей нужно попасть в список погибших для успеха фильма. Несколько сцен сняты в «Стиксе». Для остальных здесь же добыт типаж.

— А сенатор? — спросил Ормон. — Он — самоубийца.

— Жизнерадостнейший человек! Было бы забавно, если б вы вздумали его агитировать. Он нанят нами, чтобы поддерживать тон в нижнем салоне.

— Где же ваши самоубийцы? — спросил Ормон, чувствуя себя поглупевшим. — Есть ли у вас хоть один клиент — не симулянт и не состоящий у вас на жалованьи?

— Есть, и немало. Хотя бы Синтроп: ему нельзя отказывать в серьезности. Человек десять найдется и во втором классе, хотя второй класс сейчас почти целиком занят репортерами. Им удобно во втором классе. У них отдельные комнаты, и они могут держать связь с редакциями, не обращая на себя внимания. Из семисот клиентов третьего класса также не все бегут от кредиторов и от жен, или же

погашают уголовное прошлое. Четыреста человек из семисот оставили пакеты с завещаниями, сообщив свое точное имя и адрес. Они хотят, чтоб их не путали с однофамильцами. Мне больше доверия внушают остальные триста, и особенно те из них, которые желают умереть анонимно, не сообщая своего имени даже нам. Таких около полутора человек. Если вычесть отсюда любопытных, приехавших провести время, а также процентов тридцать неустойчивых, которые раздумают умирать и уедут с последними автомобилями, то получится человек семьдесят или восемьдесят, которые действительно погибнут в этих стенах сегодня ночью. Остальные разбегутся, лишь только начнется суматоха с отъездом.

— Итого, — подсчитал Ормон, — менее десяти процентов к общему числу?

— Отсюда вы видите, как много значения в нашем деле имеют попутчики. Для настоящих самоубийц наш способ дороговат. Кинуться с моста в воду все-таки дешевле. Десять процентов — самое большее, на что мы можем рассчитывать.

— Между тем, я видел столько лиц, отмеченных ожиданием конца. Когда эти лица поворачивались к экранам, на них появлялись странные улыбки. Мне эти улыбки казались потусторонними.

— Это была боязнь пропустить момент и оказаться захлопнутым в ловушку. Потому-то они и не пьют вина.

Ормон вспомнил клиента № 807, его цветущее лицо, его измученные глаза.

— Есть персонажи, которых я не могу понять даже после ваших объяснений. Я говорил с № 807. Он не хитрит, когда говорит о своем намерении умереть, и в то же время у него нет никакой охоты умирать. Он славит жизнь.

— Мы можем узнать, в чем у него дело, — сказал Флийс.

Он открыл регистратор и из ящика девятой сотни достал карточку 807.

— Молодой человек, лет двадцати двух. Фамилия не сообщена, но оставлено письмо на имя Елены Одд в Карабоне.

— Любовь? — предположил Ормон, прищурясь.

Флийс посмотрел письмо на свет, достал зубчатое колесико, смочил его в растворе и правел по шву конверта.

— Я отвечаю за корреспонденцию «Стикса», — сказал он, заметив удивление Ормона, — и имею право контроля.

Догадка Ормона не подтвердилась. Елена Одд должна была служить лишь передаточной инстанцией. В конверте с ее именем был другой конверт с адресом местной организации революционной молодежи. Флийс, морщась, прочел этот адрес, вскрыл письмо, просмотрел его и передал Ормону.

Это были прощальные строки человека, обвиненного в предательстве. По-видимому, обвинение было доказано. В списке провокаторов, выкраденном из полиции, действительно имелась его фамилия и почерк на расписках в получении денег совпадал с его почерком. Он утверждал, что его именем пользовался другой, и так как у него не было никаких данных, чтобы подтвердить свои слова, он надеялся, что товарищи поверят его предсмертному письму. Его смерть кроме того должна была заставить товарищей не успокаиваться и продолжать поиски, пока настоящий предатель не будет найден.

— Наивно, но может иметь успех, — сказал Флийс, снова заклеивая конверт. — Парень переедет на запад и выдаст еще десяток-другой дураков.

— Не думаю, — ответил Ормон. — Он не похож на предателя. По-видимому, дело обстоит именно так, как он пишет.

— В самом деле? — насторожился Флийс.

Он подумал, повертел в руках конверт и, с неожиданной брезгливостью, разорвал его.

— Пусть они сами разбираются в этом деле. «Стикс» не может иметь отношения к их дрязгам.

— И значит, № 807 погибнет напрасно? — спросил Ормон.

— Он не погибнет... — отмахнулся Флийс.

— Но вы дадите знать клиенту, что его пакет уничтожен?

— Зачем?

Ормон промолчал, решив, что он еще раз подымется в салон третьего класса и разыщет мнимого провокатора.

— А кто такой № 306? — спросил он, вспомнив лысого веселого человека, который помогал тащить его в уборную.

— Репортер, — ответил Флийс, после справки. — Он уже третий раз приезжает погибать в «Стикс». Приходил жаловаться на однообразие материала. По сравнению с прошлым ничего нового.

Флийса вызвали в соседнюю комнату. К нему пришли посетители. Ормон через дверь увидел клиента № 641 и женщину, к которой он не решался подойти. Они явились, чтобы возвратить жетоны, уничтожить пакеты и просить автомобиль для немедленного отъезда. У них был сконфуженный вид и желание бежать из «Стикса» как можно скорее.

Неожиданные браки предусматривались практикой «Стикса», и для них в конторе были припасены букеты. Один из них Флийс преподнес воскресшей чете. Для разговоров с клиентами у Флийса был особенный тон. Он превращался в филантропа, мудрого знатока сердец. Ормон не подозревал, какие теплые и слезливые ноты были в запасе у этого универсального гробовщика, работавшего без могил и гробов.

Флийс отпустил посетителей и вернулся к Ормону.

— Обыкновенная история, — сказал он тоном, предназначенным не для клиентов. — Он — какой-нибудь неудачник, выверт, выше всего ставящий свое одиночество. Она тоже неврастенична, никем не понята, одинока. Одиночество загнало их в «Стикс». Здесь они встречаются. Оказывается, что их вкусы сходятся. Оба продолжают славить одиночество, не замечая, что теперь уже они делают это вдвоем. Потом они спохватываются, но у них нет охоты возвращаться в одиночество. Они возвращены для жизни. Такова положительная роль «Стикса».

Он прервал себя, вспомнив, что Ормон мог бы выехать из Бетана в одной машине с новобрачными и распрощался с ним, чтобы поспешить к Синтропу и лично позаботиться

об его удобствах.

Ормон, уносясь в автомобиле, вспомнил, что по-настоящему ему следовало бы подняться в третий класс и рассказать восьмьсот седьмому номеру, что его смерть не нужна и никому ничего не докажет.

Но автомобиль летел, не останавливаясь, а воспоминание о салоне третьего класса было ему тягостно.

Он успокоился на мысли, что все это дело очень запутанное и, возможно, Флийс был прав, когда говорил, что восьмьсот седьмой не погибнет. Кроме того, существовала Елена Одд. Ее можно было разыскать в Карабоне и своими словами передать ей сущность письма.

Бывший № 641 сидел рядом с ним. Его соседство смущало Ормона. Их последний разговор был недружелюбен. Между тем 641 смотрел на него с желанием заговорить.

— Вас удивляет мое бегство из «Стикса»? — спросил он, наклоняясь к Ормону так, что его спутница не могла его слышать. — На самом деле это произошло благодаря вам.

— Каким образом?

— Болезнь, о которой я вам говорил, зашла у меня еще не так далеко. Я могу жить еще несколько лет. Я не хотел этой отсрочки, я пришел в «Стикс», чтобы честно дождаться колеса. Но тут явились вы с записной книжкой. Когда я подумал, что мне предстоит стать персонажем в вашем будущем плохом романе, я понял, что я не могу этого допустить, что я должен жить, хотя бы для того, чтобы помешать вам. Вы зарядили меня злостью. Когда я зол, я другой человек. Я легко прошел восемь шагов, отделявшие меня от дивана. Я нашел нужные слова. Я должен вас благодарить, Л. Ормон.

— Я рад, что случайно оказался вам полезен, — ответил Ормон. — Живите и делайтесь человеком. Вы забываете только, что записная книжка по-прежнему со мной, и наш теперешний разговор явится продолжением предыдущего. Эпизод станет полнее и шире — только и всего.

— Вам придется совершенно обойтись без этого эпизода, — сказал 641 с решительной улыбкой. — Потому что у меня тоже есть записная книжка... И если я впоследствии

в каком-нибудь вашем персонаже узнаю себя, я опубликую точную запись того, как маститый Л. Ормон мыкался по залам «Стикса» и как плохо с ним обошлись некоторые самоубийцы. Вы пережили ужасные минуты, но если станет известно, что у Л. Ормона прибавилось седины после того, как он четверть часа просидел в уборной, его биография испорчена. Лучше будет, если ни вы ни я не будем касаться этого эпизода.

Ормон кивнул головой и отвернулся.

26. ДЕНЬГИ ОБРАТНО

Синтроп прибыл в Бетан в последний день. На станции на запасных путях рабочие развинчивали рельсы и грузили станционное оборудование. Эварт с расстроенным лицом показался в дверях вагона сзади Синтропа, помог ему сойти и, хныча, поспешно спрятался в вагон. Синтроп, в ожидании посланных из «Стикса», остался на платформе, массивный и беспомощный. Он казался обреченным уже в первый момент своего прибытия. Для других существовала возможность возвращения. Но кто позаботился бы о нем, если б он позже изменил свое решение?

Посланный от «Стикса» был Тарт. Он повел Синтропа к автомобилю, помогая ему перелезть через ямы развороченного пути. Он не стал напоминать ему о своем недавнем посещении, но в его произношении были особенности, по которым Синтроп сам узнал его.

— Это опять вы? — спросил он, к удивлению Тарта, без раздражения. — Я не имел вас в виду. Я только что распрощался с Эвартом и рассчитывал умереть без шпионов. Вы способны испортить мне настроение в мои последние часы.

— Я надоедаю вам не из простого любопытства, — сказал Тарт. — Вы знаете, чего я от вас хочу. Меня интересует: почему вы выбрали именно смерть под колесом?

— Я догадываюсь, какую схему вы себе построили, — ответил Синтроп, улыбаясь. — Синтроп — творец колеса, ему надо умереть, и он выбирает смерть под обломками своего творения, а в последний момент раскаивается и делает признания настойчивому молодому человеку. Я уже вам говорил, что мне не в чем признаваться. Я выбрал колесо только потому, что после него не остается следов, и значит, не будет ни трупа, ни могилы, ни сборища дураков, ни субъектов вроде вас. Никакого другого отношения к колесу я не имею.

— Но почему вы не хотите сказать, кого вы считаете творцом колеса? Это облегчило бы мне поиски.

— Я могу их вам облегчить, но только другим путем. Я могу вам сказать, к кому вам не надо ездить, чтобы не тратить времени понапрасну.

И он назвал Тарту целый ряд химиков, начиная с Родена и включая индусов и китайцев, которые, по его мнению, не могли быть авторами колеса. Он знал их работы. Их интересы лежали в другой области, а те работы, которые были ими выполнены, не оставляли им времени для колеса. Тарт припомнил свой список химиков. После слов Синтропа в нем почти не осталось имен.

— Человек, который пустил колесо, — сказал Синтроп, — новый человек. Он не успел проявить себя, потому что вся его жизнь ушла на колесо. Едва ли он жив. Иначе он не остался бы равнодушным к последствиям своей работы. Отправьтесь к истокам колеса. Пошарьте там. Это будет надежнее, чем мыкаться по свету от человека к человеку.

В «Стиксе» для Синтропа была приготовлена ванна. Он с удовольствием выкупался и потом долго сушился под воздушным душем. У него было волосатое налитое тело и привычка ощупывать себя пальцами сверху донизу. Присутствие посторонних людей не смущало его. Тарт воспользовался этим временем, чтобы обшарить его карманы. Он не нашел там ни клочка бумаги: зубочистка, бинт для усов и перочинный ножик составляли весь его багаж.

Неожиданно Синтроп засмеялся.

— Я вспомнил Эварта, — сказал он, придя в добродушное настроение. — Вы его видели, когда были у меня в Оклахоме. Сегодня я одержал над ним победу, которой добивался много лет. Эварт признал меня. Признал в последний момент, когда надо было вылезать из вагона. Он сказал: «Профессор Синтроп, вернитесь домой. Ведь вы же — гений! Гении должны беречь себя»... Бедняге стоило больших трудов выговорить это слово.

Одевшись и закрыв глаза очками, Синтроп спустился в общий зал. Для него был приготовлен отдельный столик. Флийс лично суетился около него, расспрашивая, какие

блюда и какую музыку ему будет угодно заказать. Синтроп сказал, что он съест и выпьет все, что ему дадут, и выдержит любую музыку. Затем он попросил не беспокоить его больше вопросами и в молчании принялся за обед.

Когда он его окончил, черная точка была на расстоянии дюйма от Бетана. Приближался момент, когда клиенты «Стикса», к сожалению, должны были остаться без обслуживания. Кухонный и комнатный персонал, канцелярия и касса заблаговременно выехали, официанты редели, исчезая по одному и оставляя неубранную посуду. Оркестр из двадцати человек на некоторое время сменился концертным трио и снова заиграл, но уже на расстоянии, через громкоговорители.

Флийс, мудрый филантроп и капитан погибающего корабля, в последний раз обходил залы с красноречием на устах и тремя револьверами в карманах. Он отбирал жетоны у раздумавших умирать, торопил одних, пожимал руки другим, желая им добрых мыслей на оставшиеся короткие минуты. Он советовал им не губить последние минуты легкомыслием и сосредоточиться на прекрасном.

— Только значительное! — говорил он, с улыбкой доброго дяди, пробираясь к дверям. — Только глубокое! Только прекрасное!

Выйдя в подъезд, он переменил лицо и опустил руку в карман. Последний момент требовал от него распорядительности. В последний момент оказывалось слишком много раздумавших умирать. К последнему автомобилю надо было прокладывать дорогу, стреляя в воздух и в людей, и даже пробравшись в машину, можно было ждать, что оставшиеся от злости проколют шины у автомобиля, чтобы посмотреть, как Флийс в свои последние минуты будет вспоминать все самое прекрасное и самое глубокое.

Флийс был прав, когда говорил, что его клиенты на девяносто процентов не склонны умирать. Залы опустели, лишь только он уехал. Из всех щелей в темноту выбегали люди, шарили по ямам и кустам, выводили мотоциклы, сутились, не найдя машин, спасались пешком.

Синтроп сидел один в своем углу. Громкоговоритель гремел «Сионские высоты». Это был жанр, который Синтропу не нравился. Он морщился и оглядывался кругом, славно звал кого-нибудь помочь ему. Неотесанный субъект из третьего класса вошел в салон, увидел пустоту, свистнул и направился к столу Синтропа.

— В чем дело, дядя? — спросил он, наливая стакан себе и ему. — Что такой скучный?

Тарт, оставив в прикрытии мотоцикл, вошел в зал.

— Если у вас есть что сказать людям перед смертью, — проговорил он, наклоняясь к Синтропу, — скажите мне.

— Вы еще здесь? — поморщился Синтроп. — Проваливайте!

— Впрочем, — поправился он потом, — исполните сначала одну мою просьбу: прекратите музыку.

Он показал в сторону рупора.

— Не нравится? — ласково спросил неотесанный субъект. — Мне тоже. Такая музыка нам ни к чему. Сейчас мы прекратим ее.

Он швырнул в рупор табуретом, но не попал, задев матовый экран. Кусок стекла вместе с черной точкой упал на пол. Рассердившись, он в несколько приемов доконал и рупор и экран.

Какие-то люди прошли через салон, вглядываясь перед собой, точное боясь сбиться с направления. Неотесанный субъект звал их присоединиться к компании, но они не слышали его. Он взял одного из них за руку, и тот безропотно остановился и сел. Это был № 807. Он держался рукой за голову. Он был в печальном состоянии. Он едва ли помнил, где он находится и что привело его в «Стикс», но впервые в жизни начал ощущать свое темя, которое давило на разбухший мозг.

Неотесанный субъект вставил в руку Синтропа стакан.

— Пей, дурашка. Я расскажу тебе историю об одной кровати, которая стояла, стояла, да вдруг и...

— Оставьте меня в покое! — крикнул Синтроп, стукнув стаканом о стол. — Дайте мне умереть...

Тарт оглядел комнату в последний раз и выбежал на лестницу. Экран был разбит, и он не видел черной точки, но, судя по положению стрелки на секундомере, можно было высчитать, что колесо совсем близко. Какие-то люди попались ему на лестнице. У них были потные возбужденные лица. Он уловил обрывок фразы.

— Если дело обстоит так, — говорил кто-то со смехом, — то я завтра потребую деньги обратно...

У Тарта не было времени разбираться, что могла означать эта фраза. Он вывел из прикрытия мотоцикл и взял полный ход. Через несколько минут он был вне зоны разрушения.

Он поднялся на холм и посмотрел в ту сторону, откуда должно было прибыть колесо. Он увидел короткую линию огней среди мрака и определил, что это был Бетан и огни «Стикса». По точным данным, они должны были погаснуть в два часа семнадцать минут и никак не позже двух часов двадцати пяти минут. Часы показывали два часа тридцать минут, но огни продолжали гореть.

Он проверил направление по компасу; ошибки не было. И тем не менее, гул колеса, который одно время ясно слышался из отдаления, стал затихать, а зарево на небе переместилось к горизонту и потускнело.

Тарт помчался к ближайшему громкоговорителю.

— Неожданное несчастье! Небывалая катастрофа! — кричал информатор. — Непредвиденный поворот колеса! Зигзаг у Миссисипи! Гибель Оберголя! Гибель Мажесты! Паника в Оклахоме. Сотни тысяч человеческих жизней.

К трем часам Тарт вернулся в Бетан. По салонам «Стикса» бродили усталые взволнованные люди. № 807 укладывался спать на диване в салоне. Он очень устал, и у него не хватало сил радоваться своему воскресению.

В первом классе в углу, навалившись на стол, сидел Синтроп. Голова его лежала на столе. Руки с вздернутыми рукавами кверху свешивались вниз. Стаканы и бутылки лежали опрокинутые на скатерти. Две темные лужи кругами стояли на полу под его повисшими руками.

Можно было бы думать, что это пролитое вино, если бы не темные шероховатые потеки на его руках, начинавшиеся пониже вздернутых манжет и шедшие через всю ладонь. Маленький перочинный нож лежал в луже, выпав из правой руки.

Синтроп был мертв.

Это был единственный клиент «Стикса», покончивший с собой в эту ночь.

27. ЧЕЛОВЕК, ИЗ-ПОД КОТОРОГО ВЫШИБЛИ ДОСКУ

Эгон снова был частым посетителем Анны. Он входил к ней по условному стуку и сохранил замашки старого друга, но, сидя у ней, всегда был настороже, боясь проговориться о своей теперешней профессии.

Он не скрывал от нее, что остался при прежних взглядах и живет в Лондоне, ожидая переворота у себя на родине. Он даже намекал, что сам имеет отношение к подготовке переворота, но умалчивал о том, что подготовка эта пока заключается в скромных предательствах за небольшое вознаграждение и что на этой работе он стал циником и научился прибавлять к собственному имени поганые слова.

Когда он явился к Анне в первый раз, ему пришлось на несколько минут остаться в комнате одному. Это было в самом начале посещения, когда обида от ее безрадостного приветствия была в нем остра. За эти минуты он успел осмотреться в комнате, разглядеть ее нищету, испытать злорадство и жалость, поцеловать подушку на кровати Анны и удивиться тому, что в нем еще жива любовь к этой обыденной и грубой девушке. Это было повторением того, что он уже испытывал много раз, сидя в ее школьной комнате. И только одно чувство не возвращалось к нему: его уже не удивляло, что Анна смеет его не любить. Время усмирило Эгона.

Между тем Анна за стеной говорила Брисбену:

— Ко мне пришел человек, которому голоса в вашей комнате покажутся странными. Не лучше ли прекратить их, пока он у меня?

Длинный ряд металлических кружков висел у Брисбена по стене. Брисбен ходил вдоль ряда, прислушиваясь к тем из них, которые звучали, и иногда делал отметки на бумажных лентах. Каждому кружку соответствовал свой бумажный валик.

— Кто этот человек? — спросил он, выключая контакт, общий для всего ряда. — Вы его знаете?

— Я знала его прежде. Он — эмигрант из Германии.

— То есть: убежал от революции. Он часто будет ходить к вам?

— Не знаю.

— Его надо проверить, — сказал Брисбен.

Он порылся в аппаратуре, достал кружок и булавку, связанные одной проволокой, кружок прикрепил на стену рядом с остальными, а булавку отдал Анне.

— Есть у него лента на шляпе? Эту штуку удобно воткнуть за ленту, чтобы головка слегка высывалась. Это микроприемник с зарядом на два месяца. Он даст нам знать, что представляет собой ваш посетитель.

В этот день Эгон ушел от Анны, унося булавку за лентой шляпы. К голосам, хрипевшим в комнате Брисбена, прибавился голос с немецким акцентом, и очень скоро Брисбен мог с уверенностью назвать Анне подлинную профессию Эгона. Он позвал ее к себе, чтобы она сама убедилась в этом. А еще позже, меняясь комнатами с Анной, он оставил этот голос на старом месте, ибо нашел, что Анна может лучше его следить за ним.

— Я когда-то спасла ему жизнь, — сказала Анна. — Это было шесть лет назад. С тех пор он изменился. Прежде он был не таким злым.

— Он мог быть хорошим, пока из-под него не вышибли доску, — заметил Брисбен. — Надо решить: что с ним делать теперь? По-моему, пусть он ходит к вам, точно ничего не случилось. Визиты агента полиции делают место благонадежным. Для меня удобнее, если, он будет ходить по вечерам между пятью и шестью, — в эти часы мои рупоры мало работают. Но надо вовремя выключать контакт перед его приходом, иначе он услышит из рупора собственный голос. И надо следить, чтоб он сам не оставил в комнате микрофона. Надо чаще проверять рупор. Если ваш собственный голос вернется к вам через рупор, это значит, что где-нибудь за обоями он приладил собственный прибор и звук успел долететь до него и через булавку вернуться назад.

Брисбен знал, где и как можно приладить микрофон. Все голоса в его комнате были этого же происхождения и каждому рупору на его стене где-нибудь за стенами «Шарлотты» соответствовала булавка или другая вещь, оставленная его товарищами.

Брисбен был агентом революционной разведки, и в его ведении находилось несколько комнат в здании полицейского управления. Шпенек в обивке кресла инспектора позволял Брисбену проникать в замыслы этого человека. Инспектор знал о ловушках этого рода, был неразговорчив, объяснялся записками, звонками и мычанием, и шпенек работал не с той нагрузкой, какая могла бы быть, если б в кресле сидел более общительный человек. Зато гвозди, на которых держалась вешалка в общей комнате филеров, и шишечка на чернильном приборе секретаря работали день и ночь, хотя ценный материал надо было вылавливать из вороха разговоров и остроумия отдыхающих людей. Наконечник на карандаше одного из филеров работал всякий раз, как этому человеку требовалось записать чье-нибудь имя или адрес, потому что, записывая, он имел привычку повторять слова вслух. Он портил дело тем, что часто засыпал, и тогда наконечник подолгу воспроизводил его храп.

Эгон был неважным сыщиком. Он работал без энтузиазма. Его сведения были из третьих рук и добывались через субагентов. По вечерам его шляпа передавала ресторанную музыку. Ему случалось оправдываться перед начальством, просить отсрочек, уверять, что он накануне раскрытия большого дела. У себя в комнате, когда он бывал расстроен, он вслух ругал самого себя:

— Эгон Шардаль — сволочь!..

Бывали случаи, когда он повторял эту фразу по многу раз, убежденно и с раздражением. Это была формула, которой он отпрызался от плохих минут. Выговорившись, он успокаивался.

Существовала женщина, к которой он обращался, когда был задумчив или пьяный шел по улице. С этой женщиной у него были счеты. Он не называл ее по имени. Он был с ней ласков, но чаще груб. Никто не отвечал ему, по-

тому что он говорил в пустоту. Женщина была воображаемой.

Однажды он ей оказал:

— Как вы не понимаете, что время идет, что это единственное, чего надо бояться на земле? Как вы не понимаете этого?

Это была фраза, которую Анна уже слышала от Эгона несколько лет назад, и только в голосе у него прибавилось тоски и нетерпения. Он говорил с женщиной как с живым человеком, но никто не ответил ему. Он был один.

Брисбен дал о нем сведения в центр, чтобы центр предостерег немецких эмиссаров. Тем не менее, немецкие фразы доверительного характера иногда выскакивали из его рупора. Где-то его продолжали считать своим.

Эгон собирался поправить дела арестом крупных фигур. Он вел об этом переговоры с разными людьми, и так как его шляпа была на нем, перед Анной постепенно выяснялись подробности дела.

Где-то в неизвестном районе был семизэтажный дом с плоской крышей. На крыше стоял аэроплан. Два эмиссара с почтой и один их товарищ, бежавший из английской тюрьмы, были готовы к отлету в Германию. Явочная квартира находилась в верхнем этаже и сообщалась с крышей наружной лестницей. Вход был со двора в средний подъезд. Был известен и номер квартиры, и пароль для пропуска в нее, и время, назначенное для отлета. Было условлено, что в случае неудачи с арестом воздушный патруль будет наготове и запрет аэроплану путь на юг. Невыясненным оставалось лишь самое главное: улица и номер дома. Их Эгон хотел сообщить в последний момент начальнику отряда, который будет командирован в его распоряжение.

В день ареста Анна не отходила от рупора. Брисбен также из всех попадавших к нему адресов вылавливал то, что могло иметь отношение к семизэтажному дому.

Арест предполагался около семи. Анна не думала, что Эгон в этот вечер придет к ней. Но он явился после шести и сидел полчаса, и это значило, что он пришел к Анне убить время, а нужный ему дом находится недалеко.

Разговор шел негладко. Эгон был настороже. Он вспомнил, что некоторое время назад заходил в дом, где когда-то жила Анна.

— Верхние этажи обвалились, — говорил он, косясь на минутную стрелку, — но лестница на месте. Вы помните надпись на стене: «Жизнь есть процесс горения»? Она цела до сих пор.

Он говорил, пока позволяла минутная стрелка, и в половине седьмого простился.

Анна пошла за ним в сорока шагах. В коридоре ее догнал Брисбен:

— Я буду ждать вас два часа. Если через два часа вы не вернетесь, это будет значить, что вы арестованы.

Эгон шел не торопясь. Идти было недалеко. Без четверти семь к нему подошел какой-то человек. Оба взглянули в одном направлении. В этом направлении было несколько домов, но только один из них был семиэтажным.

Без десяти семь Анна прошла мимо Эгона. Эгон не сразу узнал ее. Он окликнул ее, но она, не оглядываясь, прошла в ворота. Когда на лестнице она, добежав до верха, оглянулась вниз, там еще не было слышно ничьих шагов.

Если бы эти шаги задержались еще на несколько минут, Анна успела бы тем же порядком спуститься вниз и снова пройти мимо Эгона, который так бы и не узнал, куда она ходила. Но почти сейчас же началась осада двери, стрельба, и Анне пришлось вслед за остальными пробраться на крышу и спастись на аэроплане.

Арест не удался. Воздушный патруль осветил небо, несколько аппаратов погнались вдогонку, но добились лишь того, что аэроплан изменил направление круто на восток.

Эгону не удалось поправить свои дела. Когда, после рапортов по начальству, он вернулся к мыслям об Анне, он был далек от понимания истины. Кто-то из полицейских видел на аэроплане женскую фигуру с приметамы Анны. Но он не мог этого осмыслить и, явившись в тот же вечер в «Шарлотту», ждал, что Анна откроет ему дверь.

Когда на второй и на третий день Анны не оказалось дома, он предъявил в контору свои полномочия и потребо-

вал вскрытия двери.

— Никого и ничего... — сказал он, оглядывая с порога пустую комнату.

— Никого и ничего... — повторил его же голос изнутри комнаты.

Он был не так неопытен, чтобы не понимать, каким образом такие вещи бывают возможны. Он разыскал рупор, оглядел свою одежду. Булавка за лентой шляпы объяснила ему истинное положение вещей. Это был для него провал, гораздо более тяжелый, чем сотня неудавшихся арестов немецких эмиссаров.

Он раздавил булавку под каблуком, разгромил рупор, обыскал комнату. Он перетряхнул и соседей Анны. Брисбен покинул «Шарлотту» за два дня перед этим, расплатившись и возвратив в контору ключ. Скруб, предъявивший путевую книгу с отметками властей всего мира, показался ему совершенно безобидным.

На всякий случай он распорядился послать человека в Клифтон — следить, не покажется ли свет в старом доме Дарреля.

28. НАЗАД К ИСТОКАМ

Три первых имени в списке Тарта были зачеркнуты. Оставалось проверить еще с десятков громких имен, но Тарт потерял доверие к своему списку. Он решил подойти к делу с другой стороны.

Он двинулся на север, наперерез первым одиннадцати оборотам, и по первому обороту на восток. Его задачей было проследить путь колеса к его началу.

Чем дальше к северу, тем уже делались зоны разрушения. Зона первого оборота, проходившая через канадские леса, была не шире четверти километра, проросла деревьями и местами совершенно исчезала под свежими песчаными наносами. Однако, узкие вытянутые озера с водой неестественного цвета, встречавшиеся местами, напоминали, что эта изрытая запущенная просека была происхождения более загадочного, чем случайная деформация почвы.

Просека привела Тарта на Ньюфаундленд. Наступил день, когда он подошел к месту, где колесо впервые явилось на американскую почву. Компас и карта показали его путь через океан, и если его начальный пункт был не в океане, то где-нибудь на противоположном берегу должны были остаться после него следы.

Надо было еще раз пройти через заградительную линию. Тарту помогли контрабандисты. Контрабандная торговля с Европой велась под водой. Подводные суда, опускаясь на большую глубину, обходили блокаду. С ними под водой велась борьба и, находясь на положении преследуемых, они нередко терпели аварии. Хороший механик всегда мог найти себе место на этих судах.

Тарт был неплохой механик, но со странностями. Во время пути он удивлял своих хозяев тем, что держался строго одного направления и иногда на малых глубинах погружался на самый низ, зажигал прожекторы и через стеклянные иллюминаторы в нижней обшивке судна освещал

морское дно.

Оставалось непонятным, что именно он там искал, но неизменно в воде рядом с судном в полосе прожекторов оказывались огромные мертвые рыбы, плававшие животом вверх, но под тяжестью воды не подымавшиеся на поверхность. Никогда на пути через океан им не приходилось видеть столько мертвечины, которая вся точно собралась к одному месту.

Он высадился на ирландский берег и двинулся в северном направлении, ощупывая каждый шаг. Дюны, размытые водой, не сохраняли старых следов. Он дошел до северной границы, не найдя ничего замечательного, и повернул назад в уверенности, что его путь не может переходить эту черту. Немного позже он определил южную границу своих поисков. Он несколько раз проверил берег между этими двумя точками, пока на холмах вблизи Клифтона не наткнулся на след, подобный тем, какие он уже не раз наблюдал в разных концах земли.

Это была неглубокая и узкая колея, местами до краев заполненная песком и залитая водой. Но сквозь песок проглядывали крапинки красного цвета и красный осадок покрывал наконечник его палки, когда он опустил ее в воду.

Тарт поднялся вдоль колеи по холму. На вершине след совершенно исчезал. Заржавленный металлический круг, с лопастями и батарейками внутри, лежал вблизи этого места, занесенный песком. Тарт откопал его, подержал в руках и положил на место. Предмет был невелик и безобиден, но его соседство с колеей наводило на другие мысли. Было ясно, что эта невинная вещь, прежде чем стать инвалидом, сыграла какую-то роль и сыграла ее добросовестно.

По другую сторону холма он увидел город. Путь к нему шел через пустыри, мимо заброшенных, заколоченных домов. На некоторых из них сохранились дощечки с именами их хозяев. Около одного дома он остановился. Ржавое имя Магнуса Дарреля стояло на его воротах.

Хмурый и скромный человек, памятный ему лишь тем, что он был отцом Анны, неизвестный ученый, включенный в список под третьей чертой среди имен, взятых из сло-

варя, — неожиданно предстал ему в своем настоящем виде.

Дом с заколоченными окнами был пуст.

Тарт обошел комнаты. В мечтах он не раз представлял себе свое будущее свидание с Анной. Он знал, что когда-нибудь они встретятся. В мечтах в ее дом его приводила любовь, и было странно, что на самом деле его привела к ней узкая красная колея и он входил в ее дом как соглядатай, думая не о любви, а о бумагах Дарреля и скрытой в них разгадке.

Он приподнял чехол, прикрывавший портрет на стене. Анна и ее отец, улыбаясь, взглянули на него. Анна была девочкой десяти лет. Магнус Даррель, стареющийся бодрый человек, с доброй улыбкой склонялся над ней и притягивал ее к себе.

Именно таким помнил его Тарт, но сейчас его доброта представилась ему особой формой безумия, а его простота — защитным цветом для его действительных замыслов.

В комнате Анны Тарт присел к столу, просмотрел ее книги, фотографии. Среди фотографий он нашел самого себя, нашел белокурого юношу, которого видел когда-то на экране. Один портрет напомнил ему женщину, погибшую в доме Ривара, но у него не было времени распутывать это совпадение. Старый номер «Клифтонских новостей» с сообщением о гибели Дарреля также попал ему в руки.

Дата смерти поставила его в тупик. Первые слухи о колесе появились гораздо позже этого дня. Выходило, что колесо было пущено через два месяца после его смерти. Другое сообщение в той же газете — о загадочном столбе воды, движущемся на Америку, — привело дело в ясность.

Даррель был мертв, и это облегчало задачу Тарта. Живой Даррель, может быть, стал бы сопротивляться, его пришлось бы убеждать, уличать, вести с ним борьбу, сомнительную, потому что он всегда был бы сильнее Тарта. Он умер, и обстоятельства его смерти были таковы, что он не мог забрать с собой свою химию. Она лежала где-нибудь в доме, покорная и безмолвная, ожидая человека, который сдул бы с нее пыль и обратил бы ее против нее самой.

Взломать двери в кабинет Дарреля было нетрудно. Гораздо труднее было разобраться в его бумагах. В лампе Дарреля оставался керосин, и он зажег ее, считая справедливым, чтобы лампа, светившая Даррелю при его работе, помогла теперь его разоблачителю. Он потратил часы на просмотр ничтожной доли наследства, оставленного Даррелем и убедился только в том, что должен будет потратить годы, чтобы действительно овладеть им.

Лист блокнота с шифром К.П.2 также попался ему на глаза и долго мучил его своею загадочностью. Много позже, к вечеру следующего дня, он догадался, что это были номера полки и ящика. Приставная лестница стояла на том месте, где оставил ее Даррель. Тарт поднялся по ней. Папка с надписью «Колесо» перешла в его обладание.

«В моих руках созидание и разрушение, — прочел он. — Я начинаю с разрушения, чтобы расчистить почву, слишком загрязненную»...

Две страницы путаных рассуждений следовали за этими строчками. Тарт обнаружил в них политическую беспомощность и плохо усвоенные лозунги. Тут были фразы о справедливости и протест против войны, но в них не чувствовалось теоретической силы и проглядывало обычное озлобление человека, который сидел под бомбами и отупел настолько, что не дал себе труда подумать, кто и почему бросает в него эти бомбы. Тарт оставил философию разрушения без подробного рассмотрения и перешел ко второй части рукописи, объяснявшей химию колеса.

Эта часть уместалась в нескольких строках:

«Ф о р м у л а к о л е с а». Две строчки знаков, и среди них обозначения, неизвестные в химии.

«П у т ь к о л е с а». Прямая линия с уклоном в четверть градуса на длину тропика.

«К о г д а о с т а н о в и т с я к о л е с о? Никогда, если только оно не попадет на свой собственный след»...

Глобус Дарреля, исчерченный линиями, был дополнением к этим строкам. Он показывал, каким образом этот человек надеялся покончить с колесом и прекратить разрушения.

Всюду, где между двумя отрезками параллельных линий Даррель проводил соединительную черту, могла быть ловушка для колеса. Существовали на земле места, где было возможно, посредством искусственных сооружений, переключить колесо на его прежний след. Высокие горы особенно годились для этого.

Даррель намечал ловушки в разных частях света. Некоторые из них уже были пройдены колесом, другие лежали между зонами разрушения и могли пригодиться лишь в отдаленном будущем. Тарт определил место, где в данный момент находилось колесо, рассчитал скорости и направления его ближайших оборотов. Его расчеты сосредоточились у Гималаев и восточной Азии.

Здесь намечались линии:

Минданао — Паанг — Селягор

Хамба — Пилибит — Ханпур

Нарайян — Каварда — Джунагар

Чартаз — Кабадьян — Алашкерт

Ловушка могла быть у Кабадьяна.

Тарт снял копию с завещания Дарреля, положил подлинник на место и запер комнату. В тот же день он исчез из Клифтона.

Он исчез, не думая, что его присутствие в Клифтоне было кем-либо замечено. Между тем человек, приставленный Эгоном, дал знать в Лондон, что в доме Дарреля горел свет. Эгон явился в Клифтон. Он не застал в доме людей, но нашел обрывки бумаги, исписанной Тартом, и следы на пыльном полу. Следы привели его к шкафу К.П.2. Он стал обладателем завещания Дарреля, почти не затратив труда на его поиски, и взял его себе, не зная пока, какое употребление он из него сделает.

29. КУРИЛ ЛИ ПУШКИН?

Воздушная погоня загнала немцев в Скандинавию. Здесь они спустились, чтобы впоследствии перебраться в Ленинград. Мотор, выдержавший погоню, был в плохом состоянии, и для починки требовалось спокойное место и товарищеская помощь.

В Ленинграде, в бюро иностранцев, специальные люди занялись ими, чтобы познакомить их с городом и помочь им в их затруднениях. Анна попросила узнать, где находится Тарт, и один из проводников, Костя, отправился наводить для нее справки, а другой — аспирант исторических наук Фейт — вызвался показать ей город. Он пригласил Анну в машину и двинулся вдоль набережной.

Фейт был молод, но любил смотреть в глубь времен. События, случившиеся менее ста лет назад, были не его специальностью. Он привез Анну к дворцу у Летнего сада и показал окно вверху, из которого хотел выпрыгнуть Павел Первый при появлении заговорщиков. В этом ряду было много окон, и все они могли годиться для этой цели. Кроме того, существовало мнение, что Павел вообще не делал попыток прыгать. Фейт разобрал каждую из этих версий.

— Дом был окрашен в другой цвет, — говорил он, всматриваясь в стены и подставляя невидимое на место видимого. — Переплет рамы также выглядел иначе. Под окном росло дерево, которого теперь нет. Но высота окна над уровнем земли осталась такой же.

Он привез Анну к бывшей женской тюрьме и подробно описал ее архитектуру, ее историю и внутренние порядки. Его не смущало, что никакой тюрьмы на этом месте уже не было, — ее разрушили в первые дни революции, и перед ним стоял восьмиэтажный дом новой стройки и на новом фундаменте. Дом был занят студентами и медицинскими лабораториями. Два студента вышли из дверей, и один сказал другому, подводя итог трудового дня:

— Одна кровь, две мочи, двадцать семь мокрот...

— О чем они говорят? — спросила Анна.

— О посторонних вещах, — ответил Фейт, прислушавшись. — Ничего интересного.

Он снова повернул на набережную и поехал мимо домов старой архитектуры. Около одного дома он остановился.

— Здесь живет редкостный человек. Я хочу показать его вам, потому что в другом месте вы такого не найдете.

Он провел Анну внутрь дома, в садик, где у стены на солнце сидел древний старик.

— Скажите, пожалуйста, — спросил его Фейт, — кому принадлежит этот дом?

Старик медленно зашевелил скулами.

— Этот дом принадлежит его императорскому высочеству великому князю Сергию Иоанновичу и супруге его ее императорскому высочеству великой княгине Анастасии Дмитриевне.

Подобие одушевления появилось на его лице, пока он произносил старинные слова, и его сбитый голос зазвучал воинственно.

— Большое спасибо, что вы объяснили нам это, — сказал Фейт.

— Это дворник дома, оставшийся от старых времен, — сказал он Анне на обратном пути. — В его голосе сохранились интонации, которых вы уже нигде не услышите. Я записал его слова на пластинку, но не упускаю случая еще раз прослушать их в его собственном исполнении. Редкий случай сервилизма, въевшегося в кровь. Он не может забыть то, чему его научили в молодости. Между тем только немногие специалисты помнят сейчас, кто такой был Сергей Иоаннович...

На берегу Анна огляделась. Город был огромен. Его границы намечались кольцом надземной дороги, которая в нескольких местах высокими мостами пересекала реку. Центр этого кольца лежал далеко к югу от того места, где стояли она и Фейт. Путешествуя в автомобиле, они не выходили из района, близкого к северной границе круга.

Анна захотела взглянуть на город сверху. Они поднялись на площадку аэропристани, и здесь с стометровой высоты перед ними открылись центральная и южная часть города. Они отличались от северной широтой плана, правильностью линий, обилием зелени, белизной домов. Фейт смотрел в эту сторону без особого интереса.

— Довольно красиво, — сказал он уклончиво, — и безусловно, более рационально. Но это стиль, оторванный от исторических традиций. Все эти дома построены за последние сорок лет. Для археолога здесь нет работы...

Он скучал, глядя на новый город, и снова одушевился, откатившись от современности на полтора века назад и предложив Анне показать Пушкина и его эпоху.

Он привел Анну в квартиру в унылом многоэтажном доме, подвел к окну, откуда, кроме стен и кусочка мутной реки, ничего не было видно, и здесь, силой своей эрудиции, раздвинул горизонт, убрал все лишнее, снова воздвиг то, что было уничтожено временем, и показал картины, которые должен был видеть Пушкин из дома, стоявшего на этом месте полтора века назад. Он описывал людей и предметы, цитировал стихи и документы. Спорный вопрос: курил ли при этом Пушкин, курил ли трубку, или сигары, курил ли он вообще? — также не был им обойден. Но по этому поводу Фейт оказал, что многим загадочным местам в исторической науке суждено навсегда остаться неразрешенными.

В комнату вошел Костя и прервал его рассуждения.

— Я знал, что он вас привезет именно сюда и прочтет лекцию о загадочных местах в исторической науке ...

Костя наводил справки о Тарте, и ему были нужны дополнительные сведения.

— Я соединился с Кавказом, но узнал только, что человек с именем Тарт три месяца назад выехал с места работы неизвестно куда. Зато я наткнулся на его имя в другом месте. Правительство только что выпустило объявление с вызовом желающих ехать на Гималаи. Предстоит борьба с колесом. Объявлена мобилизация людей и машин. Отправка немедленная. Наш город должен дать сорок тысяч

человек. Вы, конечно, знаете, что такое колесо ?

— Знаю, — ответила Анна. — Но мне не пришлось его видеть. Его первый оборот прошел к югу от того места, где я жила, а затем оно все дальше отходило на юг.

— Среди лиц, подписавших воззвание, есть имя Тарта. Все имена широко известны, за исключением этого имени. О нем никто ничего не мог мне сказать. Между тем он стоит одним из первых. Ему отводится большая роль.

— По-видимому, это другой Тарт, — сказала Анна. — Не тот, которого я знаю. Тому всего двадцать два года. Он не может быть руководителем в большом: деле.

— Молодость не препятствие, — ответил Костя. — У нас на это не смотрят. Поедем на вербовочный пункт. Там мы узнаем, кто такой Тарт.

Анна простилась с Фейтом и пересела к Косте. Автомобиль поехал по широкой улице, нарядной, но мало оживленной, с зданиями, по своему типу не выходящими за пределы начала двадцатого века. Люди, которые проходили здесь, казалось, никуда не торопились, в то время как трамваи с пассажирами проезжали улицу, не останавливаясь на перекрестках.

— Прежде это была главная улица, — сказал Костя. — Весь остальной город был ее дополнением. Здесь был деловой центр. Когда человек старился и выходил из строя, он переселялся за Неву и на окраины, чтобы доживать жизнь на покое. Сейчас обстоит иначе: дела переместились на окраины, а именно здесь место покоя и воспоминаний. Это улица старых людей. Она сама превратилась в окраину. Она сохранила транзитное значение, но ее собственная притягательная сила невелика.

Он свернул на Фонтанку и погнал машину вдоль реки. Дома здесь были старой стройки. Некоторые из них были брошены жителями.

— Эти дома непригодны к нашим условиям, — сказал Костя. — Они рассчитаны на замкнутый быт. Их задворки отвратительны, а фасады оставляют тупое впечатление. Был проект совершенно забросить этот район и сломать дома, но из-за тесноты их приходится терпеть. Кроме того нахо-

дятся люди, которым нравится жить в них. Сквозной свет и шумная жизнь в новых домах пугают их, и они чувствуют себя лучше на третьих дворах за несколькими дверями.

— Это дома переходного времени, — показал Костя на дома более нового вида. — Они еще далеки от новой архитектуры, но в них нет и прежнего торгашеского духа. Народ строил их для себя и на своей земле, без мрамора спереди и без задворков сзади. Торгаш на этом же участке нагородил бы втрое больше стен и набил бы вдесятеро больше людей.

В новом городе на широких улицах была зелень и бегущая вода. Здания, раскинутые на огромном пространстве, намечали единый план, не все звенья которого были осуществлены. Анна видела высокие сквозные здания, отделанные с архитектурной изысканностью, и только по звуку из окон догадывалась, что это были фабрики. Фабрики старого типа, с трубами и сарайными корпусами, остались за чертой нового города.

В доме, где происходила запись уезжающих на Гималаи, толпились люди. Одни приходили, чтобы узнать подробности, и убедившись, что предприятие связано с большими лишениями, задумывались и уходили. Другие становились в очередь, давали подписку, что они предупреждены о тяжелых условиях работы, получали ордер на теплое платье для перелета и билет на отправку.

Были люди, которые прежде всего интересовались платой, и, узнав, что никаких приплат не будет, уходили. Плакаты извещали, что на работу требуются люди всех специальностей, включая поваров, врачей, прачек, портных. Продолжительность работы — не более тридцати восьми дней, которые остались до прохода колеса.

Костя пошел узнать подробности о Тарте и вернулся с фотографией в руках.

— Тут никто не знает, сколько лет Тарту. Сам он уже на Гималаях. Но вот фотография президиума комитета. Отыщите его тут.

Он выбрал самого молодого из шести человек на фотографии и показал на него Анне:

— Не этот ли?

— Этот, — подтвердила Анна, разглядев знакомое лицо.

Она обрадовалась и оживилась, и Костя, по молодости, испытал неудовольствие, что ее радость относится не к нему.

Однако, когда Анна захотела теперь же переговорить с Тартом по радио, он добросовестно пошел хлопотать об этом, и не его вина, если разговор не состоялся: связь поддерживалась через главный штаб в Москве и только по деловым вопросам.

— Можно говорить только о колесе, — сказал Костя. — А о нем вы как раз ничего не можете сказать...

— Если хотите, — прибавил он потом, разглядывая таблички с перечислением профессий, — скажите мне все что надо, и я лично передам Тарту, когда увижу его на Гималаях. Потому что я тоже поеду на Гималаи. Я по профессии рисовальщик, но могу быть и землекопом.

— Ваше посредничество не нужно, — засмеялась Анна. — Я сама могу стать в очередь. Я уже присмотрела себе профессию. В Лондоне я была землекопом, но на Гималаях мне пожалуй лучше быть судомойкой...

Люди, стоявшие в очереди, были понятны Анне только снаружи. Она не знала их языка. Она отметила разное состояние их одежды. Они не боялись, что голая грудь или заплата на башмаке лишат их чьего-либо уважения. Фигуры забитые или с завистливым взглядом отсутствовали. Девушки не были похожи на мадонн и не отличались ни хрупкостью, ни наивностью. Анну удивляло, что запись на работы происходила как ординарное явление, не было ни агитаторов с речами, ни широких жестов.

— Все-таки, — сказала она Косте, — первое впечатление от здешних людей не очень яркое. Я ожидала большего.

— Не вы первая говорите мне это, — ответил Костя. — Это обычное разочарование иностранцев. Но одни признаются в этом с злорадством, другие с сожалением. Они столько слышали о нашей стране, что вообразили, буд-

то это земной рай, где люди ходят не прикасаясь к земле, блаженно улыбаются и почти не говорят друг с другом, ибо все уже сказано...

Анна засмеялась, ибо в ее собственных представлениях также было некоторое ожиданиерая.

— На самом деле, — продолжал Костя, — сказано пока немного, у людей озабоченный вид и они ступают по земле тверже, чем когда-нибудь. Борьба продолжается. Настоящих врагов, врагов чистой крови, уже нет. Осталась полукровка, но ее достаточно. Вы может быть заметили, что и тут появились люди с кривыми улыбками и с желанием нажить деньги. Эти люди — продукт всевозможных посторонних скрещений, метисы и кварталеры контрреволюции. Для них у нас существуют сложные подразделения. Когда вы у нас поживете, вы увидите, как точно научились у нас классифицировать всякую постороннюю примесь. Их уточняют, именно для того, чтоб потом уничтожить.

Анна получила билет на отпавку в тот же вечер. Костя должен был вылететь на следующее утро. Поездка на вербовочный пункт и возвращение заняли два часа. Когда они вернулись в бюро иностранцев, коллега Фейт все еще сидел там, отбывая дежурство, и был не прочь снова взять Анну в работу и продолжать лекцию о Пушкине и его эпохе.

— Оставьте ее в покое, — сказал Костя. — Она уезжает на Гималаи на тридцать восемь дней, после чего снова будет к вашим услугам. Я тоже покину вас на этот срок. Вас мучат некоторые нерешенные вопросы истории. Постарайтесь решить их до нашего возвращения...

30. НА ГИМАЛАЯХ

Работы велись сразу на всем протяжении скатов. Динамит подтачивал вершины, сбрасывал их вниз, машины и миллионы рук заполняли щели. Колесу готовилась пологая гладкая дорога, по которой оно должно было соскользнуть в могилу. Экскаваторы и земляные насосы, подвешенные к аэропланам, летали над пропастями и устанавливались на любой высоте. И если на каком-либо участке подготавливался взрыв, вся масса аэропланов, с людьми на борту и машинами на цепях, тучей подымалась в воздух.

Машины получали энергию через эфир от сибирских станций, — это был внеплановый расход энергии, и для того чтоб машины на Гималаях работали, многие города в Сибири оставались без света и движения. Пилоты ночных рейсов, приближаясь к месту работ, видели яркую просеку огней, поднимающуюся и опускающуюся по горам, с провалами полной тьмы. С каждым днем провалов делалось все меньше. Линия огней выравнивалась.

Машины разбивали главные препятствия, остальная работа выполнялась вручную людскими массами. Никому не было известно точное число работавших. Аэропланы непрерывно подвозили свежий человеческий материал из Европы и Азии и забирали в обратный путь больных, ослабевших и склонных к дезертирству.

Эти люди ежедневно истребляли тысячи тонн продовольствия. Десятки тысяч людей нужны были для того, чтобы продвинуть его к ним и обслуживать другие их нужды. Зато в течение тридцати восьми дней они должны были давать максимум работы.

Все знали, что их испытания не могут продолжаться дольше этого срока, однако темп работы был взят такой, что многим этот срок был не по силам. Вредный климат, вечная усталость, жизнь в палатках, необходимость быть всегда настороже и даже ночью вскакивать по первому сиг-

налу и бежать к аэропланам, если рядом ожидался взрыв, — такая жизнь быстро изнашивала людей и превращала их в балласт, годный к обратной отправке.

Работами руководил президиум из шести лиц. Из них ближе всех к работающим стоял Тарт, и в широкой массе предприятие на Гималаях связывалось с его именем.

Это имя проникло в западную и американскую печать, и вызвало к себе двусмысленное отношение. Его предприятие считалось грандиозным, но сомнительным. Об истинном источнике добытой им информации знал лишь небольшой круг людей в Москве. Эти люди не сомневались в исходе дела. Кроме них еще один человек знал о завещании Дарреля, но он хранил его у себя, раздумывая и готовясь к какому-то ходу.

Большой удар сомневающимся нанес Роден, глава европейских химиков, который вскоре после начала работ на Гималаях целиком одобрил их план. Сам он хотел победить колесо средствами химии, но допускал, что с ним можно бороться и другими способами.

Система скатов, отводивших колесо к Кабадьяну в русло предыдущего оборота, совпадала с тем, что он сам говорил о механике колеса. Сила колеса возрастала пропорционально преодолеваемому им сопротивлению. Чем меньше препятствий, тем слабей его поступательный ход. На скалах, где оно попадет в среду, почти лишенную сопротивления, оно растратит заряд, приобретенный им за все предыдущие обороты. Останется лишь сила тяжести, повиная которой, оно проделает приготовленный ему путь.

Роден не думал, что, попав в старое русло, оно остановится немедленно, но считал, что если даже этого не случится, в дальнейшем его путь всегда будет один и тот же: оно попадет в петлю, перейдет на холостой ход, каждый раз скатываясь к Кабадьяну.

Костя и Анна, попав на Гималаи, затерялись в массе. Костя привез с собой блокнот и рисовальные карандаши, но они у него лежали без дела. Работа землекопа не оставляла времени. Анна работала по снабжению на участке персов и малайцев. Уменьше объясняться на разных языках,

вынесенное из детских путешествий, пригодились ей.

Участок Анны был неблагополучным. Она имела дело с нестойкими, неорганизованными людьми, которые на себе испытали колесо и считали его наказанием неба. В их местах было не принято спастись от колеса, а тем более бороться с ним. Они работали поневоле, потому что не знали, как им выбраться из гиблых мест, куда они дали себя завести. Между ними были случаи паники и неповиновения, и Анне, кроме обычной работы, приходилось следить за их настроениями и бороться с паникой.

Она приехала на Гималаи для встречи с Тартом. Она два года ожидала этой встречи, пока Тарт был от нее отрезан. Но хотя теперь он был недалеко от нее, она не делала попыток разыскать его или дать ему о себе знать. Работа не оставляла времени для посторонних мыслей. Все, что не относилось к работе, казалось неспешным и второстепенным.

Встреча произошла на двадцать первый день работ, когда Тарт, объезжая скаты, попал на ее участок. Он не сразу узнал Анну, спросил ее имя и, когда Анна назвала себя, без слов прошел дальше. Анну при этом удивило не то, что он не нашел для нее лишнего слова, но что она сама нашла такую встречу совершенно естественной.

Новой встречи не было, но была записка от Тарта, наспех набросанная:

Мы встретились. Нам нельзя терять друг друга из виду. Обещайте мне, что вы не уедете отсюда, не подождав меня. Был в вашем доме в Клифтоне. Узнал вещь, о которой вы едва ли знаете. Сейчас не к спеху о ней рассказывать. На эту записку ответьте.

Анна ответила:

Буду ждать.

Она разорвала записку Тарта, чтоб она не попадалась ей под руку и не вызывала у ней желания разгадать то, что

в ней оставалось недосказанным.

В то время ей было не до загадок. Не только на ее участке, но и на всем протяжении скатов в работе происходили осложнения. Три четверти срока, назначенного для работ, прошли, а сделано было не больше половины. Требовалось ускорить темп работы, удвоить число рук, между тем повсюду наблюдался упадок сил и количество больных и дезертиров превышало свежие кадры, подвозимые из Европы.

Распространялись слухи, что место для скатов выбрано неверно. Ничтожная первоначальная ошибка в подсчете места прохода колеса, помноженная на весь его путь, давала расхождение, губительное для дела. Говорили, что колесо пройдет в стороне от спуска, и вся работа окажется сделанной впустую.

Эти слухи подтверждались тем, что и в президиуме также были разногласия на этот счет. Неожиданно спохватились, что скаты надо продолжить немного вверх и сделать несколько ответвлений в разные стороны. Машины и люди снова были отправлены наверх. Они проложили дельту рукавов, подводивших к главному скату. Какой-нибудь из рукавов должен был захватить колесо и так или иначе подвести его к скату.

Между тем переброски волновали людей. Малейшая неуверенность наверху отзывалась на низах массовым падением дисциплины. Люди говорили об отдыхе.

31. ДВА РАЗА В ЖИЗНИ

Когда подвели итог тридцатого дня, оказалось, что выполнена только та работа, которую надо было окончить шесть дней назад.

В этот день, вместе с призывом в Европу устроить пополнения, был отдан приказ, урезающий часы сна для всех работавших и каждому в сотый раз повторено, что работы должны быть окончены к сроку, ибо если хоть полкилометра ската не будут готовы к моменту прохода колеса, вся работа лишится смысла. В этот день на участке Анны были волнения: малайцы бросили работу, и их с трудом, силой и деньгами, вернули на место.

В этот же день, с очередной партией новых работников, на Гималаи прибыл Эгон. Он проследил путь Анны до Ленинграда и, чтобы продолжать путешествие, должен был сделаться землекопом.

Дело было утром, и его с места двинули в работу. Такое начало не понравилось ему, ибо на самом деле он приехал не для работы. В подкладке у него был зашит документ, и он думал, что пришло время предъявить его. Он был культурен. Он ничего не имел против того, чтобы колесо было поймано в ловушку, но его бесило, что это будет сделано Тартом под своим именем, а дочь человека, славу которого он украл, будет любить его и верить в его гениальность.

Он приехал, чтобы играть центральную роль, разоблачать и злорадствовать, а вместо этого попал в хомут и некоторое время должен был добросовестно таскать его, пока хитростью, симулируя ранение при взрыве, не сумел от него освободиться.

С трудом он разыскал Анну. Он не в первый раз неожиданно появлялся перед ней, и всегда у нее была для него наготове сомнительная обрадованная улыбка, которая приводила его в бешенство. После случая с микрофоном он знал цену этой улыбке. Он с тоской готовился к ней, как к оскорблению, и испытал облегчение, когда Анна встрети-

ла его молча, с удивленным и недовольным лицом.

— Вы не рады? — сказал он хмуро. — Вы думаете, я явился, чтобы подымать старые вопросы? Не беспокойтесь. На этот раз речь пойдет о другом.

Он распорол пальцем шов в подкладке куртки и вытащил сложенный слежавшийся листок.

— Знаком ли вам этот документ?

Анна увидела подпись отца, взглянула на дату, прочла все завещание. Она испытала растерянность и беспомощность. Эти немногие строки опрокидывали все ее представления об отце. События ее предыдущей жизни стали на новые места, и этот процесс, в мгновение охвативший всю ее жизнь, вызвал у ней головокружение. Эгон, наблюдая ее, был не рад произведенному им впечатлению.

— Я так и знал, — сказал он с невольной жалостью, — ни одна строчка из того, что тут написано, не была вам известна.

— Прежде всего, — сказала Анна, трезвея, — я вижу, что эта бумага может иметь значение для дела. Ее надо теперь же показать Тарту...

Она заговорила о Тарте, и Эгон мгновенно перестал ее жалеть.

— Не торопитесь, — остановил он ее. — Этот документ ничем не удивит Тарта. Потому что он ему отлично известен.

— Откуда вы это знаете?

— Я сам нашел эту бумагу только потому, что шел по его следам. Она находилась на верхней полке в шкафу в кабинете вашего отца. К полке вели свежие следы. Это были следы Тарта.

— Это возможно, — сказала Анна. — Тарт был в Клифтоне. Я знаю об этом. Он приезжал ко мне, но не застал меня.

Эгон усмехнулся.

— Он был в Клифтоне, но вы напрасно думаете, что его привело туда желание видеть вас. Ему был нужен кабинет Магнуса Дарреля и эта бумага. Когда он ее нашел, он снял с нее копию и уехал. Вы были придатком вот к этому лист-

ку. Вы и не подозреваете, какую жалкую роль вы играете...

— Моя роль представляется мне иною, — сухо ответила Анна, — и все это очень скоро выяснится. Вы застали меня врасплох, потому что действительно я не имела понятия о бумаге, которую вы привезли.

— Тарт не нашел нужным посвящать вас в ее содержание. И если б я не показал ее вам, вы никогда бы не узнали о ней. Колесо было изобретением вашего отца. Он его породил, и он же дал мысль, каким способом его уничтожить. Тарт сделал из его указаний практические выводы. Сейчас около колеса шум. Но имя вашего отца нигде не упоминается. Всюду — Тарт ! Он — спаситель мира, он придумал ловушку на Гималаях, от него ожидают того, что не удалось самому Родену, хотя на самом деле Роден все-таки великий химик, а Тарт всего лишь ловкий человек, умеющий проникать в чужие кабинеты...

Эгон говорил горячо. Казалось, он разоблачал Тарта только для того, чтобы Анна не была игрушкой в его руках. Сам он при этом ничего не добивался. Он был проигравшийся человек и ни на что не рассчитывал. Он хотел только, чтоб выигрыш не достался никому, и это, злобное, продиктованное завистью, желание он не мог скрыть.

— Колесо было не единственным изобретением вашего отца, — продолжал он. — Его шкафы полны бумаг с формулами, а по его колесу вы можете судить, чего можно от него ждать. Некоторые из бумаг побывали в руках Тарта. И я не удивлюсь, если в скором времени станет известно еще какое-нибудь новое необыкновенное изобретение, и изобретателем окажется Тарт...

Он засмеялся брезгливо, точно окончательно уничтожив врага, и вдруг остановился, заметив, что Анна отвернулась и не смотрит на него. Ему показалось даже, будто ей было тяжело смотреть на него. Так отворачиваются от людей, которые внушают гадливость.

— Вы выбрали неудачное время для разоблачений, — сказала Анна. — Тарт сейчас очень занят. Но вы наговорили о нем столько плохого, что придется поговорить с ним теперь же. Вы также можете присутствовать. И если

хоть десятая часть того, что вы говорили, окажется правдой, ваша роль будет не такой жалкой, какой она мне кажется сейчас.

Она двинулась вперед, не оглядываясь и не заботясь о том, следует ли он за ней. Вагонетка подвесной дороги понесла их вниз, к центральной ставке. Эгон из угла следил за Анной. Он был сбит с толку. Он приехал разоблачать, но дело повернулось так, точно он сам в чем-то должен был оправдываться. Так непонятно оборачивались все его планы, когда он сталкивался с Анной.

Прием у Тарта также был не таким, как он ожидал. Прежде всего им пришлось стать в очередь, точно они явились не для обличения, а с просьбой или за распоряжениями. Между тем Тарт издала узнал Анну и улыбнулся ей.

Когда дело дошло до них, Анна положила на стол завешивание Дарреля.

— Эгон нашел этот листок в бумагах отца. Он утверждает, что и вы также имеете о нем понятие...

Тарт бегло осмотрел листок. Он был единственным в мире и не оставлял сомнений в своей подлинности.

— Совершенно верно, — ответил он спокойно. — Этот листок был в моих руках. Его копия в Москве в штабе колеса. Система скатов основана на данных, добытых отсюда. Я не говорил об этом вам, потому что у меня не было времени. Меня интересует лишь, каким образом этот листок попал в руки Эгона?

— Эгон был в Клифтоне вскоре после вас. К полке, на которой лежала шапка с листком, вели следы.

— Это правдоподобно, — ответил Тарт, подумав. — На пыли должны были остаться следы. Это объясняет мне, почему впоследствии этой бумаги не могли найти на месте. Она была в руках Эгона...

Он оглядел Эгона, который с вызовом смотрел ему в лицо, и добавил:

— Мне жаль, что он попал в руки чужих людей...

— Не потому ли, — спросил Эгон, — что это помешало вам присвоить чужую славу? И что к каждому вашему будущему изобретению мы найдем точную копию в кабинете

Дарреля?

— Не потому, — ответил Тарт. — Даррель останется Даррелем. Его имя не пропадет. Кроме того, в кабинете Дарреля вы больше не найдете копии ни к каким изобретениям. Его бумаги в верных руках. И когда они будут расшифрованы, подлинная история колеса станет известна. Этот документ был единственным, которого не могли найти. Между тем очень важно иметь его в подлиннике и присоединить к остальным.

Он протянул руку к документу и вопросительно посмотрел на Анну. Анна кивнула головой. Он сложил его и спрятал в карман.

Покончив с этим делом, он перестал интересоваться Эгоном, хотя тот все еще стоял около его стола и смотрел на него с кривой усмешкой. Тарт совсем не чувствовал себя обвиняемым. Он слушал, что говорили ему очередные посетители, и отпускал их, точно никто не разоблачал его в похищении чужой славы или же эти разоблачения были второстепенным делом, терпящим любое отлагательство.

Неожиданно его вызвали по телефону на участок майцев, где люди снова бросили работу. Он прервал прием и вышел торопясь. Анна вышла вместе с ним.

Его заместитель сел за стол и продолжал прием и, так как Эгон не уходил, он спросил, в чем у него дело. Эгон не ответил и повернул к выходу.

Он почувствовал себя лишним. Он приехал, чтобы играть центральную роль, но события обошли его, он оказался сбоку и в полном одиночестве.

Вдали Анна и Тарт садились в вагонетку подвесной дороги. Он отвернулся, чтобы не смотреть им вслед. Его сжатые челюсти двигались сами собой. Во второй раз в жизни он поймал себя на том, что скрежещет зубами. Он спохватился, пришел в себя, и быстро двинулся к пристаням, чтобы убраться прочь с Гималаев.

Обиднее всего было, что это удалось ему не сразу. В последние дни работ дезертиров удерживали силой, и он снова на несколько дней попал в хомут, который показался ему вдвойне тягостным.

32. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На тридцать восьмой день работ скаты были очищены от людей. Аэропланы, вместе с людьми и машинами, в последний раз поднялись в воздух. Оттуда работники могли следить за приближением колеса. Они видели, как оно, проскочив первые два рукава, на третьем дало уклон, приведший его к главному скату.

Самый полет по скатам и переход на старое русло занял несколько минут. В местности за Кабадьном колесо остановилось, и шум, производимый им, стал затихать.

Через несколько дней он затих совсем, и тогда в воронку, образовавшуюся в этом месте, спустились люди. Они нашли в центре воронки круглый серый предмет, вышиной в половину человеческого роста, совершенно остывший, похожий на большой точильный камень. Для него приготовили специальный пружинный футляр и извлекли его на свет.

Люди и машины были вывезены с Гималаев. Тарт и Анна вылетели в Европу. Колесо, упакованное и перевязанное, лежало около них на заднем сиденье.

Предстояла долгая работа по изучению химии Дарреля и прежде всего надо было подвести итог сделанному и написать правдивую историю колеса.

КОЛЕСО

Рис. М. Мизернюка



1.

Окрестности Клифтона на ирландском побережье пустыньны и ничем не замечательны. Отлогие, покрытые камнями холмы, понижающиеся в направлении к океану, необозримые песчаные дюны, носящие следы мощных приливов, бесконечные пустые пространства.

В первой четверти двадцатого века Клифтон был ареной многих кровавых эпизодов из эпохи борьбы за освобождение, но от этого времени не осталось никаких следов и самые имена героев были известны потомкам только из книг.

Позднее, в сороковых годах, однообразие местности было нарушено благодаря постройке огромных плотин и сооружений, перерабатывающих силу приливов. Сооружение станции потребовало многих сотен тысяч рабочих рук, и одно время местность около Клифтона выглядела очень оживленной. Но и от этого времени остались лишь немногие следы — пробитый снарядами остов здания машин и башнеобразные, уходящие в туман энергоприемники.

Занесенные песком ржавые рельсы и остатки бетонных шпал, выступавшие в некоторых местах из земли, давали понятие о существовавших когда-то улицах большого временного города, от которого не сохранилось ни домов, ни людей. Рабочие руки потребовались в другое место, и люди потянулись прочь из пустеющих бараков, а начавшаяся затем эпоха гражданских войн, голода и эпидемий, тяжелое время, когда никому не было дела до прорываемых океаном плотин, окончательно обезлюдило и опустошило страну. Станции не работали, холод и тьма снова царили в

людских жилищах, люди вернулись к масляным лампам и дымным печкам, и в эти несколько зим деревянный город, становище миллиона людей, исчез до основания.

В 1987 году, к которому относится описываемая нами история, город Клифтон представлял собой скопище усталых, измученных неурядицами людей, плохо знавших, что происходит в остальной вселенной, и мало интересовавшихся этим. Станция воздушной линии Нью-Йорк — Магада в годы войны была перенесена из Клифтона в другое место. Надземная линия Клифтон — Дублин прерывалась во многих местах и обрывалась в двух десятках верст от Дублина. Чтобы попасть на Кардиффскую линию, требовалось совершить кружной путь вокруг Дублина пешком. Самого Дублина не существовало вовсе. Он исчез под действием брошенной с аэроплана двухфунтовой перманентной бомбы, изобретенной Норденом и имевшей то главное отличие от употреблявшихся прежде бомб, взрывавшихся мгновенно и один только раз, что ее взрыв продолжался в течение неопределенного времени, иногда нескольких лет. Взорвавшись однажды и выделив огромное количество ядовитой воды, она как бы заряжалась снова и взрывалась еще и еще раз, тысячи, миллиарды раз с минутными промежутками между двумя взрывами. Разрушительное действие дублинской бомбы уже кончилось, но озеро зеленой дымящейся испарениями воды стояло теперь на месте цветущего когда-то города и только верхушки некоторых уцелевших зданий указывали, что когда-то здесь был город.

Люди в Клифтоне думали о пропитании. Грузы припасов по инерции продолжали прибывать из Америки, но все с большими промежутками, после того как выяснилось, что клифтонцам нечем платить за них и припасы захватывались и распределялись между жителями бесплатно. А еще позже была учреждена воздушная заградительная линия, предназначенная для предохранения Америки от разрушительного действия европейского пожара, и всякое движение через океан стало невозможным.

Клифтонцы вернулись к земледелию, воскресив допотопные приемы обработки земли. Если у человека был

свой участок земли, он мог считать себя спасенным от голодной смерти, если только ему удавалось избежать нападений голодных людей, выползавших из всех щелей и совершавших убийства ради куска хлеба. Совесть и жалость, столь обычные в былое время, стали редким явлением при такой жизни.

В числе людей, покинувших город и перешедших к земледелию, был инженер Магнус Идола, поселившийся вместе с дочерью в уединенном покинутом доме в нескольких милях от Клифтона. Он был ученый-изобретатель и фантазер в былое время, когда он пользовался некоторым авторитетом в теории взрывчатых веществ, пока слава Нордена, изобретателя перманентной бомбы, не отодвинула его имя в тень.

Это был упорный, необыкновенно работоспособный человек, не завидовавший чужим открытиям, но умевший извлекать из них пользу для своего собственного, долго им подготавливаемого изобретения, которое должно было затмить все, когда-либо придуманное человечеством в области разрушения. Его не считали ни гением, ни безумцем. Он просто сошел со сцены, и об Идоле не вспоминали. Он совершал продолжительные и опасные поездки к ядовитому озеру на месте прежнего Дублина, исследуя его свойства. И здесь, на берегу хаоса, его воображением владели картины разрушений такого размаха, в сравнении с которыми зеленые озера Нордена были лишь детской шалостью. При всем том по внешности это был скромный и тихий человек, в котором, за исключением некоторых странностей, извинительных для ученого, ничто не говорило о владевшей им чудовищной страсти.

2.

Его дочь, семнадцатилетняя Юлия Идола, жила с ним и заведовала его хозяйством. Ее детские годы совпали с периодом войн и потрясений, в эти годы она пережила пере-

ход от богатства к нищете, и ее характер сложился под влиянием противоречивых впечатлений той поры. Она выросла красивой жизнеспособной девушкой, с широким взглядом на людей и мир, с оттенком суровости и прямоты в характере.

Когда ей было десять лет, отец взял ее с собой в кругосветное путешествие. Это была запутанная цепь воздушных и морских рейсов через океаны и вдоль и поперек материков, прерываемая остановками в городах с непонятно звучащими названиями. Инженер Идола редко останавливался в больших городах. Станным образом ему всегда требовалось слезать в таких местах, где никто, кроме него с дочерью, не высаживался. Он был химик-исследователь и рыскал по свету в поисках залежей танария. Тысяча пудов танариевой руды после очистки давала фунт танария, тысяча фунтов танария после переработки давала три зерна гелидия, а Идоле для его опытов требовались миллионы таких зерен, и оттого он неустанно носился по свету, разыскивая танарий, и его пути лежали в стороне от больших международных дорог.

Юлия была с ним. Чудеса мира открывались ей, и она смотрела на них с спокойствием людей конца столетия. Люди в прошлом чаще удивлялись, чем люди последних лет столетия. Старый Идола, дед Юлии, рассказывал, что в молодости он пережил однажды сильное изумление при известии, что некий Блерио перелетел Ла-Манш. «Но, — прибавлял старик, — я не помню, чтобы я удивлялся чему-нибудь еще с тех пор». Удивление исчезло из мира. Юлия была дочерью человека, который с детства сроднился с мыслью, что все на этом свете достижимо и ничему не следует удивляться, а спокойствие было у ней в крови.

Юлия была с отцом и странствовала по свету, опираясь на его руку. И всегда ей казалось, что мир был создан для нее. Финиковые пальмы в Бушире росли для того, чтобы она могла срывать плоды с их ветвей, вода в океане была так горька только для того, чтобы поразить ее своим вкусом, для нее устраивались солнечные закаты на Цейлоне, а у верблюдов в Иране были горбы на спине для того, чтобы

удобнее было сидеть между ними маленькой королеве.

Но люди, мириады черных, белых и бронзовых людей, копошившихся внизу, под ее воздушным кораблем, были диссонансом в общей картине. Они как будто не считали себя созданными для ее удовольствия, их лица были угрюмы и многие из них смотрели на нее равнодушно и не были рады видеть ее. Иногда в поисках за танарием ее отцу приходилось отклоняться далеко в сторону от больших дорог, забираться в дебри, не посещаемые иностранцами. Им случалось ездить на верблюдах в персидских степях, на мулах в Пиренеях, на плотах по Амазонке и на слонах в Малабаре. Впервые во время таких поездок Юлии приходилось видеть лицом к лицу людей, не обязанных улыбаться при встрече с ней, и нередко случалось, что она хваталась за руку отца в смутном страхе и опасении недоброжелательства.

В Атлантическом океане, в том месте, где Гольфштром делает излучину в сторону Европы, они останавливались на устроенной посреди океана воздушной станции смотреть, как идет работа по отводу теплого течения в более южном направлении. Предполагалось, что если направить Гольфштром к Европе у Бискайского залива и пустить его вдоль европейского берега, климат Италии распространится по всему матерiku со всей его мягкостью и обилием растительности.

Фаланги огромных воздушных грузовых судов останавливались у излучины, сбрасывая в глубину миллионы тонн камня. На плавучих и воздушных мастерских ковались и опускались в воду металлические стены. Гигантские огни освещали картину работ ночью. Вода, бурля, бесследно поглощала плоды трудов миллионов людей, ломавших камень и копавших руду во всех концах света.

Было что-то упорное в выражении лиц рабочих, смотревших в пучину, в которой исчезали привезенные ими из-за тысячи верст огромные тяжести, между тем как уровень воды не повышался ни на йоту, и пилоты воздушных судов, направляясь в обратный путь, думали об огромности бездны, которую надо было заполнить. К концу пятого го-

да работ течение было сбито на два градуса на юг, но начавшиеся в это время войны и изоляция Старого Света приостановили работы на середине.

У Юлии завязались знакомства в разных концах света — в Лиссабоне, Гвадалахаре и в Малабаре. В Лиссабоне — дочь консула Гаэти, смуглая девочка тех же лет, что и Юлия, и по своим привычкам и образу жизни так на нее похожая, что обе, встречаясь, испытывали тягость и ревнивый интерес друг к другу. В Гвадалахаре жили Харати и Рио, дочери ковбоев, во всем не похожие на нее, умевшие укрощать лошадей и вызывавшие в ней благоговение, на которое отвечали снисходительным презрением. В Малабаре был мальчик Дарната, спасенный ею от голода и нищеты и любивший ее со всем пылом ранней страсти.

Отец Дарнаты был слепой нищий, и мальчик должен был водить его для сбора милостыни. Юлия впервые увидела их, когда отец ссорился с сыном из-за какой-то неудачи, отец бил мальчика палкой, а Дарната, хотя и мог в избежать ударов слепого отца, не уклонялся от палки.

— Почему ты стоишь на месте и даешь себя бить? — спросила Юлия. — Почему не бежишь от него? Он злой.

— Он не злой, — ответил мальчик с утрюмым лицом. — Он голодный. Мы оба голодные. Он был прав, когда бил меня, потому что голодаем мы по моей вине.

И он рассказал, как он потерял те несколько грошей, что они собрали за весь день, и как им теперь хочется есть.

Юлия плохо понимала его. Она не считала несчастьем испытывать голод, потому что, когда это случалось, она ела с большим аппетитом и все хвалили ее за это. Мальчик же был печален именно оттого, что хотел есть. Юлия высказала ему свое недоумение.

— Да, — ответил мальчик утрюмо и просто, — так бывает у вас, у богатых. Меня никто не будет хвалить, если я вздумаю съесть столько, сколько захочу. Столько, сколько дадут — не больше. Я не помню, чтобы я когда-нибудь был сыт настолько, чтобы отказаться от пищи, если б мне ее предложили.



— А мне постоянно приходится отказываться и хитрить,— сказала Юлия.— Если б я жила по своей воле, я никогда бы не обедала. Мне больше нравится лежать в траве и греться на солнце.

— Солнце, — прервал ее Дарната, — тоже для вас, богатых. Я бы очень хотел, чтобы оно грело не так сильно. Было бы лучше, если б его не было совсем...

— Почему? — спросила Юлия.— Солнце для всех одно.

— О, нет,— ответил мальчик. — Когда оно греет очень сильно, все прячутся от него в дома и тень, и только мы, голодные, должны бродить под зноем, добывая себе пропитание. Когда оно греет не так сильно и люди рады посидеть в его свете, все чувствуют себя хорошо и выглядят счастливыми, а там, где другие счастливы, голодный несчастен вдвойне. Все сыты, все счастливы, мы одни — голодны, хуже всех...

Отец Юлии взял старика и Дарнату с собой в Лагор и там, истратив несколько золотых, пристроил старика в убежище для бедных, а мальчика отдал в школу механиков, чтобы в будущем он был бы чем-нибудь большим, чем про-

стой носильщик тяжестей. Его учение было оплачено за несколько лет вперед.

Дарната, несмотря на его печальный вид, был бойкий и способный мальчик. Несколько недель жизни в достатке было достаточно, чтобы к нему вернулись его подвижность и веселость. Когда Юлия с отцом уезжали в Европу, он провожал их и глядел на Юлию сияющими влюбленными глазами.

— Тысячу, тысячу, тысячу раз благодарю вас, — говорил он, не смея дотронуться до ее протянутой ему маленькой белой руки. — Я знаю, я буду счастлив.

И в волнении он говорил о своей бесконечной преданности ей, о душе и теле, о жизни и счастье, которые он всегда отдаст, если они ей когда-нибудь понадобятся.

У Юлии в Европе было много дела, чтобы часто вспоминать о Дарнате, но однажды, когда ее отец говорил с Лагором по всемирному телефону, ей пришлось в голову вызвать к аппарату Дарнату из школы механиков, и тогда в ее ушах снова прозвенели радостные задыхающиеся слова:

— Тысячу, тысячу, тысячу раз благодарю вас. Душа и тело, жизнь и счастье...

Он рассказал ей, что никогда еще ему не жилось так хорошо, и спрашивал, когда они снова приедут на танариевые разработки. Юлия рассказала ему о себе, но уже не повторяла тех наивностей о голоде и нищете, которые говорила при их первой встрече. Со времени их встречи прошло несколько лет. Она многое понимала иначе и действительная жизнь огромного большинства людей не была для нее тайной.

А еще позже, когда ей было пятнадцать лет, пришло время войн и восстаний. Магнус Идола, ее отец, относился к событиям, как к чему-то, не имеющему к нему отношения, и думал о нескольких фунтах гелидия, которых ему, быть может, не придется уже достать. В день отмены привилегий он, не дочитав газеты, встал и ушел к себе в лабораторию. Там на деревянных упорах стоял металлический остов колеса, снабженный движущим механизмом, с батарейками и трубочками посередине. И это колесо интересно-

вало его больше всех революций на свете.

Юлия находила утешение в тяжелой работе, в ежедневной борьбе за кусок хлеба, за тепло и свет. Ей случалось день проводить в работе по дому, а ночи простаивать с ружьем, охраняя их маленький город от расхищения голодными бродягами.

Мир вокруг нее изменился коренным образом. Многое, что сияло и казалось прекрасным, потускнело и распалось. Старое лежало в обломках. Но она была молода и смотрела в лицо жизни неподкупными глазами юности, и то, что было гибелью и безнадежностью для одних, превращалось перед ее взором в покрытый цветами луг, озаренный солнцем неистребимой жизни.

3.

Было утро поздней осени и падал снег, когда инженер Идола извлек, наконец, свое сооружение на свет. Оно производило заурадное впечатление, было не больше человеческого роста и представляло металлический остов колеса, залитый серым составом, напоминающим цемент. Каждый, кто встретил бы Идолу, тянущего за веревку салазки с серым предметом на них, подумал бы, что это обыкновенный мельничный жернов. Разглядев предмет поближе и заметив детали вращательного механизма посередине, поршни, провода от батареек, трубочки и краны, он отказался бы от своего мнения и решил бы, что это что-нибудь позамысловатее, но так как Идола был инженером, то было в порядке вещей, чтобы на салазках у него лежали замысловатые вещи. Но никто не встретил Идолу на его пути через холмы к берегу, да и некому было ходить в этих опустелых местах.

В четырех верстах от берега, на склоне глинистого холма, Идола остановился и спустил серое колесо на землю. У него был странный вид, когда, не двигаясь, он стоял под осенним небом около серого предмета и глядел перед со-

бой темным, насторожившимся взглядом. Он походил на человека, переживающего очень серьезную минуту своей жизни. Несколько раз он протягивал руку к медному рычагу, торчавшему в середине колеса, но, притронувшись, снова опускал руку в карман. Был момент, когда, полный неуверенности и сомнений, он отошел в сторону, присел на камне и закурил сигару. Едва закулив, он отбросил сигару в сторону и долго сидел неподвижно, опустив голову на руки как человек, который испытывает дурноту. Потом он встал и с движениями человека, идущего навстречу неизбежному, подошел к колесу и несколько раз повернул рычаг. Поршни и механизм посредине задвигались, и внутренний круг начал вращаться. Скорость оборотов все возрастала, спицы, винтики и трубки внутреннего круга слились в один блестящий диск, и неожиданно все колесо, отлипнув от земли, тронулось с места и покатилося по склону холма. Оно двигалось по прямой линии с все увеличивающейся скоростью. Идола следил за его движениями в маленький сильный бинокль и одобрительно кивнул головой, когда в трех четвертях версты от вершины холма внутренний металлический круг отделился от колеса и, продолжая крутиться в воздухе, отлетел в сторону и упал на землю. Серая масса двигалась теперь сама по себе, преодолевая подъемы и спуски, а когда на ее пути стала отвесная скала, раздался взрыв, похожий на подземный гул, и туча пара поднялась в воздух.

Идола дрожал от волнения, вглядываясь вдаль. Когда пыль и пар рассеялись и можно было разглядеть результаты взрыва, он увидел, что в том направлении, где прежде стояла скала, не было теперь ничего, кроме дымящегося испарениями озера с водой стуженно-красного цвета, а колесо, окутанное паром, двигалось дальше, оставляя за собой красный дымящийся след. Там, где проходило колесо, оставалась рытвина с десятков сажен ширины с нагроможденными по бокам кучами выброшенной земли и песку и с красной, но быстро бледнеющей и под конец совершенно теряющей окраску водой посредине.

Инженер Идола перевел дух в мрачной удовлетворенности и снова впился в стекла, готовясь к главному и решительному моменту.



Колесо приближалось к воде. Был час прибоя, океан мчал волны на берег навстречу маленькому крутящемуся чудовищу. Было мгновение, когда Идола закрыл глаза, боясь увидеть гибель труда всей своей жизни. Когда он снова посмотрел в стекла, колеса уже не было видно. Волны покрыли его, но столб воды шел впереди него и показывал его путь по дну океана. Волны смыкались, приняв огромную обрушивающуюся сверху массу воды, и медленно успокаивались. Столб уходил все дальше, пока не исчез за горизонтом.

Судорога торжества прошла по лицу Идолы, но сейчас же другое выражение, показывавшее желание не поддаваться первому чувству и оставаться спокойным, появилось на его лице. Он имел вид человека, который много лет назад предусмотрел каждую мелочь, взвесил все условия и предугадал все последствия, но в момент, когда в действительности все оказалось именно таким, как он предпо-

лагал, не верит, боится верить, что он и в самом деле ни в чем не ошибался.

Им овладело спокойствие, глубокое радостное спокойствие после свершения дела, которому были посвящены многие годы. Это были первые минуты спокойствия после безудержного, ни на минуту не прекращавшегося многолетнего горения. Он просидел, наслаждаясь, час-полтора, не двигаясь и ничего перед собой не видя. Неожиданно выражение скуки прошло по его лицу. Его трезвое настроение возвращалось к нему. Салазки, на которых было привезено колесо, лежали на снегу, и он долго смотрел на них, как бы не понимая, что это за предмет и как он тут очутился. Придя в себя окончательно, он взялся за веревку и потащил салазки в обратный путь. Его спина горбилась, чего прежде за ним не замечали, и он выглядел усталым и постаревшим.

Дома он удивил Юлию своим необычным поведением. Он прошел прежде всего в лабораторию, но сейчас же вернулся в дом, словно нашел двери лаборатории закрытыми. Некоторое время он стоял в столовой с удивленным и раздумывающим видом. Затем поднялся в кабинет и сел за письменный стол. Прошло несколько часов глубокой задумчивости и молчания, прежде чем он взялся за перо.

Он должен был подвести итог сделанному и наметить будущее. Вот несколько строк, написанных им на листе, на котором сверху большими буквами стояло заглавие: «К о – л е с о».

Ф о р м у л а к о л е с а. Две длинных строчки химической формулы, в которой встречались также буквы для обозначения элементов, неизвестных в химии.

П у т ь к о л е с а. Прямая линия с уклоном в один градус на половину длины тропика.

К о г д а о с т а н о в и т с я к о л е с о. Здесь стояло всего одно слово: Н и к о г д а, но сбоку мелкими буквами была приписка: «Если только оно не попадет на свой собственный след».

Внизу была дата и подпись Идолы.

Он вложил листок в папку с надписью «Колесо», поднялся по приставной лестнице к шкафу с множеством полок и ящичков и положил ее в самый дальний ящичек, затем снова сел к столу и в блокноте на верхнем листке записал букву и номера полки и ящичка.

Просидев еще некоторое время в молчании, он встал и пошел вниз, в столовую, где Юлия сидела с книгой у керосиновой лампы. Он попросил есть, был оживлен и разговорчив и провел вдвоем с дочерью весь вечер. Он долго слушал ее игру на рояле, вглядываясь в ее полуосвещенное одухотворенное лицо, и испытывал удивление и нежность. В этот вечер изобретатель Идола впервые заметил, что его дочь была взрослой прелестной девушкой, одним из самых великолепных созданий земли.

Он лег спать, умиротворенный и счастливый, но среди ночи проснулся с тяжелым, чувством и не спал до утра. Ему снилось, что волны задавили его колесо. Он больше не верил в безошибочность своей формулы. Ему надо было самому посмотреть, все ли еще продолжает лететь вперед столб воды над океаном. Известия об этом могли прийти через несколько дней из Америки, но он был не в силах ждать.

Утром он сбивчиво объяснил дочери, что у него есть неотложное дело в Лондоне, и пошел в ангар выводить свой потрепанный, устаревший аппарат. Юлия вышла его проводить. Аэроплан взял курс на восток и исчез из виду, но в десяти верстах, когда она уже не могла его видеть, сделал поворот и на большой высоте снова пролетел над Клифтоном с направлением на океан и Америку.

Юлия ждала отца день и другой и не очень беспокоилась. Но на третий день один из родственников явился к ней из Клифтона и после долгих, наводящих на подозрение подходов дал ей прочесть напечатанное в газете сообщение о падении в океан аэроплана 66К315, принадлежавшего Идоле. В заметке сообщалось, что аппарат летел в направлении на Ньюфаундленд, был трижды опрошен патрулем американской заградительной линии, не дал ответа и был сбит в воду. Пилот и аэроплан погибли в океане.

Юлия осталась одна. Рука, за которую она держалась в младенчестве и отрочестве, которая опиралась на нее, когда она стала старше, рука, ставшая частью ее самой, исчезла, оставив чувство пустоты и утраты.

Газета, в которой сообщалось о катастрофе с ее отцом, была его последним следом на земле. Она много раз перечитывала ее. На одной из страниц там была другая заметка — сообщение о странном явлении на океане, об огромном столбе воды, неуклонно движущемся в направлении на Америку.

Юлия читала и эту заметку, но ей никогда не приходило в голову, что между двумя этими сообщениями есть какая-нибудь связь. Странная работа ее отца осталась тайной для нее, так же как и для всего остального света. Лист блокнота с пометкой в углу K11-32 лежал на столе с самого верху, и Юлия, убирая комнату отца и сметая пыль со стола, старалась делать это так, чтобы ни один клочок бумаги не был сдвинут с того места, куда его положил отец.

Впервые Юлия поняла, что значит остаться одной, без единой близкой души на свете. Печаль и заброшенность, пустота существования, нищета стали ее уделом. Многие люди улыбались ей когда-то в детстве, и она вспоминала их лица, но их давно уже не было около нее и она не знала, будут ли они улыбаться ей теперь, когда она в несчастье и бедна. Дочь консула Газти все еще жила в Лиссабоне, но ее ничем не омраченная жизнерадостность была Юлии теперь тяжелее, чем когда-нибудь. И однажды, когда потребность дружбы и ласкового слова была нестерпимо сильна, она вспомнила сияющие глаза Дарнаты и его восторженные клятвы. Работа клифтонской станции возобновлялась по временам, и в один из таких дней она попросила соединить ее с Лагором в Индии и вызвать к телефону Дарнату из школы механиков.

— Это я,— сказала она, когда услышала в приемнике голос Дарнаты.— Я — Юлия Идола. Вы помните меня?

— Помню ли я вас? — ответил радостный юношеский голос.— Все эти годы не было часа, когда бы я не вспоминал вас. Тысячу, тысячу, тысячу раз благодарю вас...

— За что? — спросила Юлия, не понимая, за что ему следовало бы благодарить ее.

— За сердце и ласку... за свет глаз и звук голоса... За то, что вы вспомнили обо мне...

Юлия рассказала ему о смерти отца и о том, что теперь у нее во всем свете нет друзей, кроме него.

— Еще раз благодарю вас,— ответил Дарната, и серьезность звучала в его голосе.— Я ваш друг и отдам душу и тело, жизнь и счастье в тот момент, когда они вам понадобятся.

— Я хотела бы вас видеть, — сказала Юлия, желая представить себе, каким стал теперь маленький смуглый мальчик с сияющими влюбленными глазами.

— Назовите город, в котором вы живете сейчас,— ответил Дарната,— и я через два дня буду с вами...

Волнение, звучавшее в его голосе, испугало Юлию. Разговор с Дарнатой был радостью для нее, но тайный голос говорил ей, что ей лучше не называть города, в котором она жила.

— Я назову вам потом, — сказала она просто, — а пока, когда мне будет тяжело и я буду несчастна, я буду говорить с вами. Не требуйте от меня большего...

С тех пор несколько раз через большие промежутки случалось, что Юлия Идола говорила с Дарнатой, и его голос, доходивший до нее через разделявшие их пространства, был для нее источником ласки и исцеления.

4.

Первые известия о колесе пришли с острова Ньюфаундленда. Станным образом никто не видел колеса в момент выхода его из океана, и в сообщениях говорилось о некоем движущемся сером теле, по-видимому метеорите, упавшем с неба, пронесшемся через северные области острова в направлении на запад и при полете задевавшим землю. Движение сопровождалось вихрем и гулом. Полоса разруше-

ний, оставшаяся после его прохода, достигала километра в ширину и была сплошной. Скорость движения не могла быть установлена с достаточной точностью, но была не меньше 80 километров в час. Жертвы разрушения — несколько десятков деревень и большая половина города Юнипера, совершенно сметенные с лица земли. Приблизительное число человеческих жертв — 75 тысяч. В заключение сообщалось, что, пройдя остров, метеор исчез в воде, где и затонул.

Очень скоро, однако, сведения о том же самом метеорите или о другом ему подобном пришли из Канады. В лесах между берегом и озерами оказалась широкая просека, заваленная обломками деревьев, полотно линии С.-Джонс — Ванкувер было испорчено во многих местах. Перешеек между озерами, составлявшими систему Виннипег, оказался прорытым после прохода колеса, воды озер сошлись в месте прохода и суда могли проходить тут, как по каналу. Линия городов южнее реки Св. Лаврентия лежала в стороне от пути метеора, и число погибших человеческих жизней было невелико. Зато список заводов и лесных промыслов, поврежденных метеором, занимал несколько столбцов и с каждым днем пополнялся все новыми сведениями. В заключение сообщалось, что и этот метеор, пройдя страну, исчез в воде океана и затонул.

Дело считалось ликвидированным. Авторитеты утверждали, что если даже это был тот самый метеор, который разрушил Ньюфаундленд и уже считался однажды погребенным в проливе, то на этот раз можно было не опасаться его нового появления на материке. И тут приводились цифры о глубине и огромности Великого океана.

Затем сведения о колесе прерываются. Продвижение по дну океана, чрезвычайно замедленное, потребовало нескольких недель, и этого промежутка было достаточно, чтобы человечество обратилось к другим интересам, а вред, нанесенный метеором, был отчасти восстановлен.

Его движение через Сахалин, через огромные безлюдные пространства северной Сибири на параллели Албазин — Байкал — Кутулда — Кустанай также не было отмечено значительными человеческими жертвами.

Сведения о движущемся по земной поверхности метеоре попадали в газеты всего мира, и уже никем не оспаривалась его идентичность с метеором, который незадолго перед тем разрушил Канаду. Но явление все еще продолжали считать случайным и преходящим и продолжали называть метеором. Газеты были далеки от того, чтобы бить тревогу и вызывать панику в населении Европы.

Первые серьезные опасения в Европе появились, когда колесо переходило Уральский хребет. Странному метеору была объявлена борьба. Пока подвозилась к одному месту тяжелая артиллерия, предназначенная для встречного механического удара, была попытка испробовать на колесе действие электрических волн. Огромные прикамские станции подвергли колесо одновременному действию бесчисленного количества разрядов, не отразившихся на движении колеса, но вызвавших различные побочные явления. Одновременный залп сотни тяжелых орудий, направленных в проход у Перми и выпустивших каждое по десяти тысячечудовых снарядов, отразился на движении колеса еще меньше. Удар на пустяковую долю градуса сбил его с пути, и это имело гибельные последствия для самих батарей, не успевших сняться до его прохода и попавших в зону разрушения. Тысячи уничтоженных сел и городов отметили путь колеса через Россию. Были приняты меры к оповещению населения угрожаемых местностей, но тем не менее число погибших человеческих жизней было громадным. На живом теле страны осталась узкая кровавая полоса.

Пройдя западные области южнее Пскова, колесо снова погрузилось в воду и пошло через Балтийское море. Разрушив мимоходом Либавский порт, задев южное побережье Скандинавии по линии Симрисхамн — Ледеруп — Треллеборг, колесо пересекло у Фредериции Ютландский полуостров. Воды морей сошлись в оставленной им глубокой колее, и Дания после его прохода превратилась в островное государство. На параллели Гримсби — Ольдгем — Ливерпуль колесо вторглось в Англию. Причинив каждому своим оборотом неисчислимый вред в этой густо населенной стране, оно снова пропало в воде, и столб воды понесся вслед

за ним по Атлантическому океану.

Нет надобности шаг за шагом следить за дальнейшим движением колеса через Пьер-Микелон — Мичиган — Йеллоустон в Америке, снова через Великий океан, через Мукден — Синьминьтин — Долоннор — Хоничжи — Тургай в Азии, через Россию и Польшу, через Мансфельд — Гайн — Обернзе — Брилон — Мюльгейм — Дуйсбург в Германии, через Лилль и снова через Атлантический океан. Нет надобности подробно описывать его третий, четвертый, пятый и последующие обороты. Линия его движения соответствовала заданию и представляла прямую линию с уклоном в один градус на половину длины тропика. Весь его путь, нанесенный на глобус, представлял винтовую нарезку на шаровидном теле. Так продолжалось до конца седьмого оборота, когда на южном течении Миссисипи колесо сделало неожиданный зигзаг, которого, может быть, не имел в виду и сам Идола, и после этого под винт попало южное полушарие земли, до тех пор не затронутое колесом.

Его путь через страны Южной Азии был ужасен по числу человеческих жертв и ознаменовался воскрешением фантастических религиозных верований среди населения. Список городов, уничтоженных совершенно или разрушенных наполовину, удлинялся с чудовищной быстротой: Минданао — Паанг — Селягор — Хамба — Пилибит — Ханпур — Нарайян — Каварда — Джунагар — Чартаз — Кабадьян — Алашкерт...

Мир, переживший период социальных войн, с войной всех против всех, измученный, опустошенный, изголодавшийся, стоял теперь перед новой загадкой, беспощадной и тем более ужасной, что природа ее оставалась непонятной. Чья-то рука стирала с лица земли плоды трудов миллионов людей, губила без счета жизни и, снова и снова возвращаясь, отнимала последнее, что оставалось у обездоленных жителей земли.

Тысячи ученых были заняты проблемой колеса. Армия исследователей сопровождала колесо на его разрушительном пути. Миллионы наблюдений были сделаны над направлением и темпом его движения, отбросы движения

исследовались и разлагались в лабораториях всего мира. Сам великий Норден руководил работой химиков. Но некая неизвестная величина, неуловимая и совершенно необыкновенная, не позволяла сделать ни одного законченного построения.

Норден высказывался в том смысле, что в химическом составе колеса имеется неизвестное науке вещество, обладающее неизмеримо большой взрывчатой силой. Выделяющиеся при взрыве отбросы снова питают основное вещество и восстанавливают его силу. С каждым новым взрывом сила вещества крепнет. Этим он объяснял все увеличивающуюся скорость движения колеса и все расширяющуюся зону его разрушительного действия. Все вещества, встречающиеся в природе, земля, огонь, вода в соединении с веществом колеса только усиливают его. Нет ничего в природе, что разлагало бы его силу.

Но ученые не могли прийти ни к какому определенному выводу о природе колеса. Достаточно сказать, что даже самый вопрос о том, является ли оно делом человеческих рук или же осколком какого-либо из надземных миров — даже этот вопрос решался ими и в ту, и в другую сторону.

С течением времени люди научились до некоторой степени предупреждать вред, причиняемый колесом. Был организован Комитет Колеса, распространявший свою деятельность на весь мир. Направление движения можно было предугадать с большой точностью, и это делало возможным своевременное очищение угрожаемых городов жителями, уносившими с собой также все, что требовалось сохранить.

Неожиданный зигзаг колеса у Миссисипи стоил жителям Оклагамы нескольких сотен тысяч человеческих жизней. Всюду также находились люди, которые предпочитали смерть разорению и нищете, наступавшим вслед за колесом. Были целые страны — Китай, Полинезия, где призывы Комитета Колеса не оказались достаточно убедительными, и население оставалось на местах, с фаталистическим презрением встречая смерть. В таких местах люди гибли миллионами.

Дарната, лауреат лагорской школы механиков, был одним из агентов Комитета Колеса в Индии. Он не был специалистом-химиком и не пытался строить собственных теорий о химическом составе колеса. Его воображение работало в другом направлении. Он знал только, что есть где-то на свете человек, который держит в своих руках секрет разрушения мира, и его задача была найти этого человека.

Знаменитый Норден, изобретатель перманентной бомбы, одно время казался ему единственным человеком, подходящим для этой роли. Он сумел добиться доступа к нему и в течение месяца наблюдал за ним, думая найти тайный смысл в его словах и поступках. Но все поведение знаменитого химика, человека простого и прямодушного, обнаруживало его полную растерянность перед неожиданным явлением.

Синтроп, изобретатель лампочки темноты, прибора аналогичного световой лампочке, но действовавшего с обратным результатом и способного затемнить самый яркий дневной свет — прибора, получившего значительное распространение в химической промышленности и всюду, где обрабатывается фиброид, был другим ученым, около которого он в течение долгого времени делал такие же наблюдения и с таким же результатом.

Он перебирал в уме имена всех химиков-специалистов по взрывчатым веществам, чем-либо заставивших о себе говорить в последние годы. Имя инженера Идолы также встречалось в этом списке, но Идола, так, как и все другие, был признан им недостаточно сильным для этого дела. Кроме того, его личные воспоминания рисовали ему Идолу как доброго, отзывчивого человека, и он не мог допустить, чтобы этот же самый человек мог быть таким жестоким по отношению к человечеству.

Дарната предпринял поездку вдоль зоны разрушения в направлении, обратном движению колеса, и посетил с этой целью Америку. Звание агента Комитета Колеса давало ему

свободный проход через посты американской заградительной линии. Он видел разрушенные города, моря, вдавшиеся по пробитым колеям внутрь материков, огромные толпы разоренных и голодных людей, развороченные земные породы с обнаженными золотоносными и угольными жилами, которые ни у кого не было охоты разрабатывать.

Он пересек последовательно зоны разрушения у Порто-Рико, Гвадалахары и Пассаквеколи и подверг обстоятельному исследованию зигзаг у Миссисипи, а затем двинулся наперерез первым семи оборотам и по первому обороту на восток. Наступил день, когда он стоял у того места, где колесо впервые явилось на американскую почву, вынырнув из океана. Дальше след терялся.

Компас и карта — старые друзья исследователей и пионеров — показали ему, где можно было его отыскать. Он принял во внимание все возможные отклонения и в широком масштабе взял под обзор все западное побережье Европы от Лиссабона до Дронтейма.

После дневного перелета через океан он очутился в Шербурге или, вернее, у того места, где когда-то стоял Шербург. Его путешествие вдоль побережья, совершаемое первобытным способом, пешком и на лошадях, было продолжительным и опасным. Надо было продвигаться по самому берегу, по запущенным дорогам, через опустелые после войн и колеса местности, с трудом добывая себе пропитание. У Кале он перешел зону второго оборота, и здесь его поиски стали более тщательными, в Юго-западное побережье Англии казалось ему местом, с более подходящим для его цели, но он оставил исследование Англии до будущего, решив сначала объехать Ирландию.

Дюны, сотни раз затопленные приливами, казалось, не носили никаких старых следов. Но он упорно двигался вперед и как всегда, когда разум и инстинкт руководят человеком, добился своего. В нескольких милях от Клифтона на прибрежных холмах был след, аналогичный тем, которые он уже наблюдал в разных концах земли.

Это была неглубокая и узкая колея, но вода в ней все еще дымилась зеленоватыми испарениями, и красный оса-

док покрыл кончик его палки, когда он опустил ее в воду. С бьющимся сердцем он поднялся вдоль колеи по холму. В двух верстах от берега след делался совершенно незаметным, но заржавевший металлический круг с поршнями и проволоками лежал в нескольких саженях в стороне, полузанесенный песком.

Вдалеке, в расстоянии двух верст, стоял одинокий дом, имевший, как и все кругом, вид запустения и заброшенности. Дарната, двигаясь как во сне, медленно направился к дому. Полустертое имя инженера Идолы было написано на его воротах.

Женская фигура в другом конце двора выгоняла в поле коз. Женщина была в грубой одежде, с головой, повязанной платком, из-под которого не было видно ее лица, но в ее движениях Дарната узнал Юлию.

— Я — Дарната, — сказал он, идя ей навстречу. — Вы не звали меня, но судьба привела меня в ваш дом. Хотите ли вы, чтоб я остался тут?

— Хочу ли я, чтобы вы остались со мной? — ответила Юлия, вглядываясь в его сияющие влюбленные глаза. — Мой единственный друг...

И она протянула ему руку.

Он стоял теперь на пороге счастья, и мир открылся ему во всем своем великолепии, как открывается однажды в жизни всему живому и любящему. В этом мире сияло солнце, и лучи его ослепили Дарнату. И были дни, когда он старался не думать об узкой кровавой полосе, начинавшейся в нескольких верстах от дома, где он отдавался своему счастью.

Но однажды Юлия, рассказывая о своем отце, протянула ему номер старой газеты с сообщением о его гибели. Дарната прочел описание смерти Идолы, но от него не укрылось и другое стоявшее в номере сообщение — о столбе воды, движущемся через океан в направлении на Америку, и очевидная, несомненная связь между этими двумя явлениями с удесyтеренной силой воскресила в нем его старое страстное желание разгадать тайну колеса, о которой он позволил себе забыть.

И Юлия, с беспокойством вглядывавшаяся в его изменившееся лицо, поняла, что с ее возлюбленным произошла перемена. А еще позже об руку с Юлией Дарната вошел в кабинет инженера Идолы в верхней части дома. Полки, уставленные приборами, бесконечные шкафы с книгами, горы исписанной бумаги — были подножием изумительной тайны Магнуса Идолы, и Дарната надо было сдерживать себя, чтобы не очень обнаруживать перед Юлией своего мучительно острого интереса к каждой разбитой реторте, к каждому клочку бумаги, которые все должны были вести к одной-единственной разгадке.

С деланным спокойствием и с быстро бьющимся сердцем, обнимая Юлию, Дарната обошел комнату и сел за письменный стол Идолы. Пожелтевший листок блокнота с надписью K11-32 все еще лежал на столе с самого верху. Дарната смотрел на него сосредоточенным полусознательным взглядом.

— Это последние написанные отцом слова, — сказала Юлия, осторожно притрагиваясь к драгоценному клочку бумаги, и удивилась, каким жгучим огнем вспыхнули вдруг при этих словах глаза ее возлюбленного.

Загадочный шифр завладел воображением Дарнаты. Он сиял для него во тьме и свете, он читал его в зрачках Юлии. Но потребовались ночь и день и еще ночь мучительного напряжения всех способностей, прежде чем он осмыслил его значение.

Утром третьего дня, после проведенной без сна мучительной ночи, Дарната снова был в кабинете Идолы. Он оглядел номера шкафов и полок, пододвинул к одному из них приставную лестницу и уверенно протянул руку к ящичку на самом верху. Папка с надписью «Колесо» была в его руках.

Последняя, написанная Идолой, страница лежала перед ним. Загадка уместалась в нескольких строках.

Ф о р м у л а к о л е с а. Химическая формула с включением непонятных букв.

П у т ь к о л е с а. Прямая линия с уклоном в один градус на половину длины тропика.

Когда остановится колесо. Никогда, если только оно не попадет на свой собственный след.

Состояние полубезумья-полупрезрения охватило Дарнату, когда он оторвался от чтения последних слов Идолы.

Несколько раз он повторял вслух:

— Если только не попадет на собственный след...

Долгое время он сидел за столом Идолы в глубокой задумчивости. Отражения всех чувств проходили по его лицу: торжество, уверенность, подавленность, отчаяние. Но когда он встал из-за стола, он был уверен и спокоен.

— Еще двадцать дней, — сказал он, кладя на место папку «Колеса». Формула колеса, всеми буквами отпечатавшаяся в его мозгу, жгла голову.

Он обнаружил в этот день бешеный интерес к географическим картам, математическим вычислениям и огромным цифрам расстояний и скоростей. Ему нужны были последние телеграммы со всех концов света. Глобус с нанесенной на него тонкой спиралью, красной резьбой обходившей мир, был в его руках, и от него не отрывался его воспаленный взгляд. Юлия в тревоге наблюдала его, заражаясь его огнем.

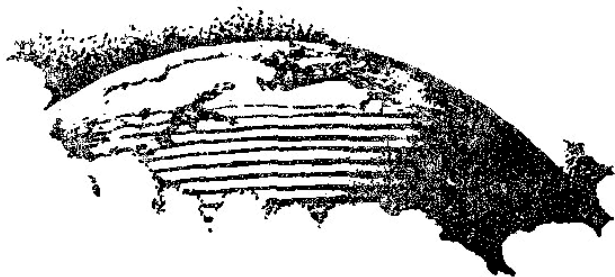
Он уехал от нее так же неожиданно, как и явился, и, уезжая, назначил день и час, когда он вернется. Юлия считала, сколько дней она должна была оставаться одинокой, и насчитала двадцать один день.

Но она не была одинокой. Потому что очень скоро имя Дарнаты, вступившего на борьбу с колесом, стало долетать до нее со всех концов света, было у всех на устах. Несмотря на свою молодость и относительно небольшие знания, Дарната стоял теперь во главе Комитета Колеса. Он сумел убедить руководителей Комитета поручить ему главное начальство в борьбе с колесом и дать ему для этого все полномочия. Он не давал никаких обещаний и не открывал карт, но в его поведении была уверенность и сила, и ему поручили работу, которая оказалась не под силу самому Нордену.

В несколько дней мириады людей и машин были движуты в Азию, к подножию Гималаев, вблизи Кабадьяна, где зона двадцать первого оборота была в минимальном рас-

стоянии от предполагаемого направления колеса. Была проделана чудовищная работа, при которой естественные и искусственные заграждения должны были постепенно перевести колесо на его старый, однажды пройденный им путь. Весь мир с волнением следил за этой работой, и день, когда колесо, пущенное по старому пути, стало стремительно замедлять свой ход, был праздником во всем свете. У Кабадьяна, пожирая само себя, колесо остановилось. Местность далеко кругом превратилась в печальнейшую из пустынь, но колесо стояло.

Дарната вернулся к Юлии. Папка с надписью «Колесо» все еще лежала в ящичке на самом верху. Но никогда, ни в момент их встречи, ни впоследствии Дарната ни словом не обмолвился жене о человеке, чьим именем была подписана формула колеса.



Приложения

ПИСАТЕЛЬ УЛЬЯНСКИЙ

Потрепанные снобы (были в 1922 году и такие) говорили, что батумские закаты ничем не отличаются от закатов в Бенгальском заливе в Индии, хотя ни один из этих снобов никогда не был в Индии. Снобы преимущественно спекулировали сахарином и подвязками.

Действительно, пышность и прозрачность батумских закатов были неправдоподобны. Индия переносилась в Батум.

Ульянский, вдоволь насмотревшись на батумские закаты, шел ночевать в пустые товарные вагоны. Над путями восходила луна — оранжевая и зрелая, как исполинский апельсин.

Свет луны проникал сквозь щели в вагоне и не давал Ульянскому уснуть. К тому же вблизи шумело море, а на шоссе визжали часами арбы, как певцы, взявшие высокую фальшивую ноту.

Арба движется со скоростью двух километров в час, а слышна за три километра. Ульяновский вычислил, что визг одной арбы занимал не менее часа. Это было жестокое испытание для нервов.

Ульянский — бывший наборщик и корректор из петербургской газеты «Биржевые ведомости» — недавно вернулся из германского плена.

В звании военнопленного во времена гражданской войны были и свои преимущества и свои опасности.

Военнопленные легко переходили в ту пору внутренние фронты. Вшитая в рукав коричневая полоса была надежным пропуском. Но зато никого так часто не принимали за шпионов, как военнопленных. Сколько их было расстреляно петлюровцами, белыми и махновцами — знали только овраги да степи Украины!

Ульянский пробрался через контрразведки, расстрелы и избиения и добрел до Батума, чтобы свалиться там от истощения.

Переползая из одного товарного вагона в другой, Ульяновский пропитывался то запахом каменного угля, то навоза, то ржавчины. Днем его кормили сердобольные турки на набережной. Иногда он таскал пассажирам вещи на пароходы. За это греческий матрос дал ему однажды по шее.

В конце концов Ульяновский забрел в союз моряков в поисках помощи и наткнулся на рассохшуюся дверь с запиской: «Редакция морской газеты “Маяк”».

Ульянский вошел. В редакции сидели люди, евшие колбасу с черствым хлебом.

Ульянскому дали колбасы, чаю и пять рублей в виде аванса за обещанный очерк. До тех пор Ульяновский не написал за всю свою жизнь ни строчки, кроме нескольких писем.

Он подавил в себе искушение удрать с пятью рублями и наплевать на очерк. Очерк следовало написать немедленно. Это было мучительно и страшно.

На следующий день Ульяновский принес в редакцию чудовищную рукопись, написанную твердым химическим карандашом между строк страниц, вырванных из детской книги.

Редактор дал Ульяновскому бумаги и заставил его переписать очерк. Ульяновский, переписывая, стащил со стола колбасу и спрятал в карман.

Редактор прочел очерк, внимательно посмотрел на Ульяновского и сказал:

— Сознавайтесь, кто вы такой.

Ульянский струсил. Он не знал за собой никаких грехов, кроме украденной колбасы, бездомности и своего внешнего вида, внушавшего подозрение. Поэтому он промолчал.

— Вы Куприна читали? — спросил редактор.

— Читал.

— Это написано лучше Куприна!

Маленькая морская газета «Маяк» украсилась очерком Ульяновского. Он описал простую вещь — английский пароход «Скотиш Менестрэл», стоявший в ту пору в порту.

Описывая этот пароход, он показал страшный скелет Англии. Резиновые макинтоши офицеров были чванны и холодны, как английская спесь. Кровяной затылок капитана напоминал о колониальной политике. Пароход был осколком Англии, преисполненным христианской злобы и сухоточных истин. Он внушал омерзение.

В мозгу Ульяновского, утомленном войной и лишениями, выработался ценный яд социальной сатиры. Его слова на первый взгляд были невинны, но резали глубоко, как лезвие безопасной бритвы. Это была месть всему старому и отпевание, полное уверенной злобы.

Вскоре Ульяновский исчез из Батума. Спустя пять лет редактор «Маяка» получил в Москве по почте толстую книгу. На переплете стояло «Ульянский». В книге были прекрасные рассказы, — простые и тяжелые, как шаги усталого человека.

Редактор берег эту книгу, как берегут дорогой подарок, но, конечно, ее стащили.

Вскоре вышла вторая превосходная книга Ульяновского под названием «Мохнатый пиджачок».

Ульянский входил в литературу не торопясь, накапливая за своей спиной новые месяцы скитаний. В своей бесприютности он находил материал для рассказов, и, пожалуй, никто из писателей не решился на это. Ульяновский заставлял жизнь брать себя за глотку и брать не в шутку, а всерьез.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ УЛЬЯНСКИЙ

Газета «Маяк» печаталась на «бостонке». Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубо врачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист писчей бумаги.

Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов.

Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы РОСТА, все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический «Маяк» писал о единении народов Малой Азии, — Батум как бы принадлежал к этой Азии, во всяком случае к Ближнему Востоку.

Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам «Маяка». Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все казавшееся очень далеким, к примеру какое-нибудь полурелигиозное-полуполитическое движение Эль-Баба, становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику.

Из-за малого формата и тесноты в «Маяке» господствовал короткий, телеграфный стиль.

Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард (он был курнос и происходил из города Мелитополя) говорил:

— Это же не газета, а конфетти!

Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «наган», хотя самого револьвера у него не было и не могло быть. Эта кобура была для Ричарда атрибутом его вообра-

жаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией.

В конце концов кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих и начал задумываться.

Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет — «пушку», по его терминологии, — было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию, в «Бордингауз», швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием:

— Уйду в милицию, клянусь папашей! Дадут мне шпалер с прикладом. Дубовую доску в дюйм толщиной простреливает навывлет с десяти шагов. Шик, дрык, иммер элгант!

Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружия. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запекшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием и рисующиеся им, вызывали неприязнь, тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты.

После Ричарда газету набирал и печатал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище — «Спать хочется».

В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа.

Первым в редакцию пришел тощий, как жердь, позеленевший от голода человек и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь». Он просидел два года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульяновский. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса.

Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум.

— Очень просто, — объяснил мне Ульяновский, сидя за кухонным столом в редакции и глотая слюну. На столе

лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. — Очень просто, — повторил он. — Наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по несколько раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем: «Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами. Дотопаете до места пёхом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». — «С кем?» — спрашиваем. Отвечают каждый раз по-разному и довольно неясно: то с григорьевцами, то с Махной, то с галицийцами, а то еще с какими-то «батьками» Переплюй-Кашубой и Зинзипером. Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг: «Прибивайся к кому попало, абы давали какой ни на есть паек!» Часть прибилась, а нас, неприкаянных, осталось всего три из всего эшелона. Решили все-таки пробиваться на восток, по домам. Все время петляли, чтобы обойти опасные, взрывчатые места.

Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало жать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинуло одним рывком прямо к Дону и за Дон — к станице Тихорецкой. Там нас все-таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе. А из Туапсе — рукой подать до Батума. Сюда я попал один, товарищи отстали.

Сейчас я не понимаю главного — где я? В старой России или в Советской? И кто я такой? Имею ли я право жить или я уже мертвец и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле? Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние три года, а человеком. А для этого мне нужна работа. Вот я и пришел к вам. Прочел на дверях «Бордингауза» вывеску и пришел.

Говорил он тихо, убежденно, но не подымал глаз — все время смотрел на свои рваные, заскорузлые бутсы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая от въевшейся в поры угольной пыли.

— Вы где ночуете?

— На товарной станции. В пустых товарных вагонах.

— Погодите минуту.

Я пошел к Нирку. Надо было поговорить, чтобы Ульяновскому разрешили ночевать в «Бордингаузе».

Нирк тотчас же согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставит свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий, не позволит им шататься то вверх, то вниз, и поэтому проживет не меньше ста лет.

Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульяновского — капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба и ни единого ломтика колбасы.

Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульяновский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали.

Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость, чтобы не обидеть Ульяновского.

Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказав, что привык к свежему воздуху и поэтому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуме очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для «Маяка» небольшой художественный очерк о Батумском порте. Я согласился.

Через два дня Ульяновский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст очерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал Ульяновскому бумаги и заставил его переписать очерк начисто.

Потом я читал очерк, а Ульяновский пил, отдуваясь, чай с черствым хлебом и сахарином и искоса поглядывал на меня.

Очерк мне напомнил лучшую прозу Куприна. Он был так же свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной

работой Ульяновского, хотя он божился, что это именно так.

Я напечатал очерк, заплатил Ульяновскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда «Спать хочется» падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульяновский крутил за него ногой бостонку.

Писал Ульяновский легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю и Фраерману (он вскоре появился в перспективе батумских улиц) нравилась манера Ульяновского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет.

Так, в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу, он подробно писал в нем о новом макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства макинтоша — холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевое небо, — все эти свойства передавались владельцу этого макинтоша — капитану «Карго».

Лицо его казалось, писал Ульяновский, выкроенным из куска макинтоша и невольно вызывало представление о коже тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был неотличим от цвета макинтоша, — вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражалась в этих пустых и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг.

Всюду плавала вместе с капитаном и его макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время как контрольные часы — коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на арифмометре, в течение длинного корабельного дня.

Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульяновского, но в общих чертах это было так.

Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря и, видимо, весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева.

На второй месяц своего сотрудничества в «Маяке» он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка.

— Не могу сидеть на одном месте, — признался он убитым голосом. — Противно!

— Вы что же, — спросил я, — собираетесь идти в Баку пешком?

— А то как же! Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума. И меня ставили к стенке всего три раза. Только три раза. Дойду и до Баку.

И он исчез, чтобы неожиданно появиться через два года в Москве, по пути из Муромы в Ленинград — опять от какой-то тетки к другой тетке. Снова он шел пешком.

Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал:

— Что ж поделать, если это так. Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки тетя Глафира и тетя Поля (они живут на Пряжке) будут радоваться мне, давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама невских берегов.

— Да, — сказал я, захваченный его сдержанным волнением. — Да... «А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина...»

— Я помню, как вы читали эти стихи в Батуме в «Бордингаузе», — улынулся Ульяновский. — Ну, будьте здоровы. Еще увидимся.

Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина, с Украины. В бандероли была книга Ульяновского. Называлась она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде.

Из надписи на обложке я понял, что Ульяновский снова бродяжит по стране, теперь, должно быть, в поисках какой-нибудь тетки на Украине.

Книга была написана свежо, крепко и, я бы сказал, беспощадно.

Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульяновского — «Мохнатый пиджачок», с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульяновский недавно умер от тифа в Ленинграде.

Ульянский начал как большой писатель. И было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и оттого, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, «зефир».

АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ УЛЬЯНСКИЙ

Вот действительно легендарная, неправдоподобная жизнь: сын офицера, служившего в Гатчинском гарнизоне, в 1910 году окончил историко-филологический факультет университета, в 1914 году был призван в ряды армии, в 1915 году в чине прапорщика попал в германский плен. Бежал оттуда, но был задержан в Австрия и возвращен в Германию, откуда снова бежал, и на этот раз удачно.

В России тем временем произошла революция. Владимир Николаевич Свинцов оказался у белых и долго не мог понять, во имя чего и против кого ему предстоит драться, но когда понял, убежал в расположение красных частей, а там его приняли за шпиона и хотели расстрелять. Не успели: в город ворвались белые и расстреляли Свинцова, ставшего потом Ульяновским Антоном Григорьевичем (документы свои он уничтожил, заполучив те, что нашел у одного из убитых). Антон Григорьевич выполз из могилы: три пули попали ему в грудь и только несерьезно ранили, а могила была засыпана спешно и едва-едва. Три километра полз Ульяновский и добрался до красных, и здесь наконец судьба его более или менее устроилась: его вылечили и сделали кашеваром. После этого ему пришлось быть санитаром, переписчиком в штабе, переводчиком на допросах на Северном фронте.

Я познакомился с Ульяновским в начале 1923 года, он служил делопроизводителем в Фонетическом институте иностранных языков, на Невском. Ульяновский обрадован был тем, что в лице моем нашел человека, у которого есть родители, есть квартира, даже отдельная комната, — всего этого он не имел: вечером и ночью он писал за тем столом, за которым работал днем на службе. Почти ежедневно он приходил теперь ко мне и работал в одной из трех комнат нашей квар-

тиры, а если они почему-либо были заняты, писал в кухне. И в 1924 году он получил премию за рассказ «Возвращение» на конкурсе журнала «Красная нива». Вскоре вышла книга его рассказов «В плену», спустя два года вторая — «Пришедшие издалека», за нею третья, четвертая. Незадолго до смерти он написал фантастическую повесть «Путь колеса», ее выпустило Издательство писателей в Ленинграде.

Скромный, абсолютно не умеющий, да и не желавший заботиться о себе, Антон Григорьевич в течение двух лет жил в Доме литератора на Карповке, но не в комнате и не в кухне, а в бывшей кладовке на площадке лестницы между первым и вторым этажами. И здесь, на этой «жилплощади» размером в два квадратных метра, где помещались только раскладушка и табурет, Ульяновский приступил к генеральной своей работе — к написанию истории бывшего Путиловского завода.

Не помню, каким образом ему удалось получить комнату на Тучковой набережной — чудесную, большую, светлую... В квартире имелись телефон, ванна; соседями оказались милые, добрые люди. Словом, живи и работай, но... от дома до «Красного путиловца» (так назывался завод в начале тридцатых годов) очень далеко, дорога туда и обратно отнимала ежедневно не менее двух с половиной часов. И вот Ульяновский решил обменять свою великолепную комнату. Случай вскоре представился: неподалеку от завода жил человек, которому очень нужно было перебраться на Васильевский остров, и как раз подле Тучкова моста.

— Но само собой, вы не захотите меняться со мною, — сказал этот человек Ульяновскому. — Я живу в плохонькой комнатухе, она меньше вашей вдвое, меня нет электричества, нет ванны и телефона, а у вас удобства. Окно моей комнаты выходит на помойку!

— Все это не помеха, — отозвался Ульяновский. — Маленькая комната лучше большой. А то, что дом деревянный, и совсем хорошо. Идемте оформлять обмен, дорогой товарищ!

В бюро по обмену не хотели давать ордер ни Ульяновскому, ни тому, кто намерен был въехать в его комнату.

— Сколько взяли за обмен? — не без ехидства спросили Ульяновского в бюро. — Ну кто вам поверит, что вы ни рубля не взяли за свою комнату! Тысчонку хотя бы взяли, а? Взяли тысчонку? Больше?

Антон Григорьевич обидчиво развел руками и дал честное слово, что за обмен не взял и копейки.

— Меня удивляет, что кто-то не хочет пустить меня жить рядом с заводом, с которым я связан вот уже больше года, — с заводом, где меня знает не менее пятисот человек.

— Очень приятно и интересно, — сказали на это Ульяновскому, — но мы имеем в виду вполне естественный поступок: вам дают гнилое яблоко, вы же за него платите сто рублей десятью золотыми монетами. Не дадим ордера, тут налицо самое откровенное жульничество, неприкрытая спекуляция. Будьте здоровы!

Пришлось вмешаться Союзу писателей и Совету Московско-Нарвского района. Ордер все же был выдан. Меня и моих родных Ульяновский пригласил на новоселье.

О том, насколько популярен был Антон Григорьевич в районе своего нового места жительства, свидетельствует такой случай. Как-то мы с Антоном Григорьевичем вышли из ворот его дома и направились в сторону Нарвских ворот. Каждые двадцать-тридцать секунд кто-нибудь из идущих навстречу окликал моего друга:

— Товарищу Ульяновскому почтение!

— Товарищу писателю привет!

— Друг Антоша, — доносилось с противоположной стороны, — что не заходишь?

— Жди во вторник! — отзывался Ульяновский. — Ровно и семь! Как из пушки!

— Антоше привет и почтение! — слышалось где-то сбоку. — Завтра у меня именины, помнишь? Приходи, и чтобы непременно! Не то смертельно обидишь!

Его знала и любила вся Нарвская застава. Ульяновский ходил на именины, крестины, свадьбы, похороны, его приглашали к больным, советовались с ним по самым пустяжным поводам, он был посвящаем в тайны семейств — тех именно, о которых он повествовал в истории завода.

В 1934 году в помещении Союза писателей состоялся вечер, посвященный истории фабрик и заводов. Главы из своих рукописей читали Шкапская, Щеглов и пишущий эти строки (мне была поручена часть работы по истории завода имени Карла Маркса, что на Выборгской стороне). Антон Григорьевич тоже должен был читать, но ввиду крайней его стеснительности написанные им главы читала Шкапская.

Аудитория была немногочисленна, человек тридцать — тридцать пять. Рядом с Марией Михайловной Шкапской, читавшей душевно и просто, сидел Ульяновский. Аудитория слушала, что называется, раскрыв рты: написанное было великолепно во всех отношениях, это была высокая проза большого художника. Среди слушателей было несколько старых путиловцев, они прерывали чтение восхищенными репликами.

Шкапская читала два часа, а когда закончила, мы встали и принялись аплодировать. Ульяновский обеими руками отмахивался:

— Спасибо, нехорошо, да что вы, чего вы в самом деле!

Хорошо помню, каким счастливым чувствовал он себя в тот вечер.

— Ну а ты что скажешь? — спросил он меня на пути к дому. — По-твоему как? Ну что с того, что аплодировали! Из вежливости! Путиловцы — народ хороший, щедрый...

Я не сумел убедить его, что написанное им представляет настоящее талантливое произведение, каких у нас немного. Антон Григорьевич даже рассердился, упрекая меня в том, что я, его друг, вру ему столь беззастенчиво.

— И почему-то допустили бестактность, — бубнил он, — говорили больше обо мне, а ведь историю завода пишут еще и Мительмая, и Глебов, и сами старики рабочие.

Антон Григорьевич не дождался выхода книги. Он умер внезапно, до слез нелепо и страшно: он натер себе ногу, но, не обращая на это особого внимания, ходил в ботинках значительно большего, чем было надобно, размера. Спустя два дня я получил от него телеграмму: «Немедленно приходи мне плохо Антон».

Он лежал в постели, накрытый одеялом, пальто и пиджаком. Его знобило...

— Что делать? Ума не приложу, — сказал он. — Температура под сорок одни. Наверное, в больницу меня... А там умру.

Его отправили в больницу имени Мечникова. Там он умер от общего заражения крови.

Восемь книг оставил Антон Григорьевич, и все они весомы. Но ни одна не переиздавалась ни при жизни, ни после. Будучи взыскательным к себе, он очень невысоко оценивал свои повести и рассказы.

— Нельзя быть таким скромным, — сказал я ему однажды. — Да это даже и не скромность, это что-то патологическое. Ты лучше очень и очень многих написал о русских пленных в немецкой неволе. Твои рассказы хочется читать и перечитывать.

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! — насмешливо оборвал Ульяновский. — Большое спасибо за ласку, как говорят украинцы, но, если хочешь знать, в жизни я сделал только одно настоящее дело — это история Путиловского завода. Да и то не я одни, а вместе со мною и хорошие товарищи, и тоже не без дарования. Вот за это поднимай меня на щит сколько хочешь и можешь, хвали и рекомендуй читателям.

— Да, я рекомендую, чтобы они читали отрывки, которые кое-где идут. А вот выйдет книга, так...

— И еще горжусь тем, — оборвал меня Ульяновский, — что рабочие люди считают меня своим, доверяют, ценят. И, кажется, даже любят...

ДОСТОВЕРНОСТЬ НЕВЕРОЯТНОГО

Если бы у писателей-фантастов существовало «патентное бюро», уверен, одно из авторских свидетельств принадлежало бы А. Г. Ульянскому, автору романа «Путь колеса». Между тем, получить подобный документ было бы не так просто, как кажется: большинство предметов фантастического антуража современных писателей, самих «идей» придумано давно и кочует из книги в книгу.

Книга А. Ульянского вышла в 1930 году в Ленинграде тиражом в четыре тысячи экземпляров и с тех пор ни разу не издавалась. Это одно из самых оригинальных произведений советской довоенной фантастики. Написанное ясным и точным языком профессионального писателя-реалиста, населенное живыми, «ощутимыми» героями, оно удивляет замысловатостью фантастического сюжета. Магнус Даррель, гениальный химик, ожесточившийся во время разрушительной войны в Европе, чтобы скорее покончить со старым миром, сооружает и запускает в океан «колесо» из открытого им вещества. Соприкасаясь с материей, оно вступает с ней в реакцию с выделением колоссального количества энергии. При этом масса «колеса» возрастает, а ход — убыстряется. Ученый трагически погибает, а «колесо», пропахивая гигантские канавы, начинает опустошать земной шар, совершая виток за витком. Остановить его долго не удастся. Старый мир рушится, и только советскому механику Тарту, разгадавшему секрет Дарреля, удастся «поймать» колесо в ловушку. Отныне оно будет служить источником дешевой энергии...

Герои книги совершают немало фантастических событий <изобретений?>: это и газовая стена Магада, пролетев которую, снаряды теряют способность взрываться; и лампочка темноты Синтропа, и перманентная бомба Родена,

заставляющая вспомнить современные вакуумные бомбы... Тема ответственности ученого за свои открытия красной нитью проходит через всю книгу.

Странная книга, написанная человеком странной и причудливой судьбы. Антон Григорьевич Ульяновский (подлинное имя — Владимир Николаевич Свинцов) родился в Петербурге в 1887 году. Окончил там же историко-филологический факультет университета. В мировую войну оказался на фронте в чине прапорщика. В 1915 году попал в плен. Дважды бежал, но был схвачен. Наконец, побег удался. Свинцов пробирается через занятую белыми Украину, к красным. Не раз находится под угрозой расстрела. Во время скитаний он и воспользовался именем Антона Ульянского. Вступив в Красную Армию, проходит с нею нелегкие дороги гражданской войны. После изгнания белых сменил множество профессий — от конюха до журналиста. К. Г. Паустовский вспоминает, что в 1922 году Ульяновский работает в Петроградском фонетическом институте, а в 1924 году выходит его первая книга. За ней — несколько сатирических сборников, роман «Путь колеса». В картинах странствий героев книги по охваченной смутой и паникой земле нашли отражение нелегкие скитания автора, и, очевидно, эта «осязаемость» в описании невероятного и делает книгу увлекательной. Последние годы А. Ульяновский писал историю Путиловского завода. Но не завершил: здоровье его было подорвано, 5 августа 1935 года Ульянского не стало.

ОБ АВТОРЕ



Антон Григорьевич Ульяновский (наст. имя – Владимир Николаевич Свинцов) родился в 1887 г. в семье офицера Гатчинского гарнизона. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. После начала Первой мировой войны был призван в армию, в 1915 г. в чине прапорщика попал в германский плен, откуда дважды пытался бежать.

В 1918 г. был освобожден немцами из плена, оказался на Украине, побывал в рядах «белых» и «красных», неоднократно приговаривался к расстрелу. Раненый белыми во время расстрела, перешел на сторону красных с документами погибшего А. Г. Ульянского, чьим именем назывался до смерти. В рядах Красной армии служил кашеваром, писарем, санитаром, переводчиком.

После демобилизации скитался по стране, работал конюхом, полотером, служил санитаром и писарем в военном госпитале, добывал нефть на промыслах в Баку и в Закавказье. Первые рассказы и очерки опубликовал в 1922 г. Батуми в газете «Маяк», выходившей под редакцией К. Паустовского.

В 1923 г. поселился в Петрограде, работал делопроизводителем в Фонетическом институте иностранных языков. В 1924 г. вышла первая книга рассказов «В плену (1915-1918)», посвященная русским пленным в Австро-Венгрии. За ней последовали сборники рассказов «Пришедшие издалека» (1927), «Мохнатый пиджачок»

(1928), «Четыре немца» (1933), выдвинувшие Ульянского в число наиболее заметных авторов, писавших о Первой мировой войне. Единственной пробой пера Ульянского в драматургии стала комедия «Облигация» (1926?).

«Художественные средства Ульянского очень значительны и серьезные, – писал К. Федин в 1936 году. – Он интересный рассказчик, язык его прост, отбор слов обнаруживает незаурядность, строгость его литературного вкуса. Все это создает своеобразный стиль, без экзальтации и фальши, так странно напоминающий облик самого автора – скудного на слова, простого, изящного по душевным качествам».

Единственный фантастический роман Ульянского «Путь колеса» (1930) подвергся резкой критике. Его следующая книга рассказов «Ночной рейд» (1931) попала под цензурный запрет. Как пишет А. Блюм, «восемь рассказов, вошедших в книгу, посвящены главным образом жизни редакций газет: заводских “многотиражек” в Ленинграде 20-х гг. и киевских газет во время калейдоскопической смены властей в городе в 1918-1919 гг. “Криминальных” имен в них нет, однако автор, во-первых, описывает бунт голодных женщин в Ленинграде и разногласия в рабочей среде по важным политическим вопросам; во-вторых, позволяет своим персонажам – сотрудникам и корреспондентам газет – в ироническом тоне высказываться по поводу ГПУ и своей деятельности. Например: “Написал, как умел. Чего вы от меня, от беспартийной сволочи, хотите?” – “Ну-с, куда мы сегодня направим ярость масс?”».

Возможно, именно эти обстоятельства заставили Ульянского обратиться к более «безобидным» и востребованным темам. Так, он подготовил книгу «Володарка» – сборник воспоминаний рабочих бумажной фабрики им. В. Володарского. В 1933 г. вышла составленная им совместно с С. Спасским, К. Вагиновым и Н. Чуковским книга «Четыре поколения (Нарвская застава)».

В последние годы жизни Ульянский не на шутку увлексяписанием истории Путиловского завода и даже, стремясь находиться ближе к рабочим, обменял свое жилье на Васильевском острове на девятиметровую комнату в районе завода.

5 августа 1935 г. А. Ульянский умер в Ленинграде от заражения крови. В 1936 г. с предисловием К. Фебина вышла его посмертная книга «Война и плен», в 1939 г. – «История Путиловского завода» (совместно с М. Мительманом и Б. Глебовым).

За исключением «Истории Путиловского завода», переиздававшейся в сокращении в 1941 и затем в 1961 г., произведения А.

Ульянского – писателя, которого отмечали А. М. Горький, К. Паустовский, И. Бабель, К. Федин, Р. Фраерман и др. – практически не переиздавались. Лишь в 1989 г. журнал «Уральский следопыт» перепечатал фантастический рассказ «Колесо» (1925) – первый «подход» к теме «Пути колеса». Настоящая книга является первым общедоступным переизданием романа (в 2010-2017 гг. роман переиздавался мелкими издательствами, специализирующимися на так называемой «раритетной» фантастике, однако эти дорогостоящие книги и выпущенные мизерными тиражами книги остались недоступны большинству читателей).

Роман «Путь колеса» публикуется по первоизданию (Л.: Изд-во писателей в Л., 1930). В тексте исправлено устаревшее написание некоторых слов и наиболее явные опечатки. В гл. 12 строки абзаца, начинающегося словами «Диркс не был мелочным...», в оригинале перепутаны и искажены и восстановлены по смыслу; в остальном текст оставлен без изменений.

Рассказ «Колесо» (впервые в журн. «Мир приключений», 1925, № 3) публикуется по журн. «Уральский следопыт» (1989, № 6).

«Писатель Ульяновский» К. Паустовского (1930, из мемуарного очерка «Приморские встречи») публикуется по т. 5 собрания сочинений в 6 томах (1958); глава «Военнопленный Ульяновский» из мемуарной книги «Бросок на юг» – по т. 5 собрания сочинений в 8 томах (1967).

Мемуарный очерк Л. Борисова «Антон Григорьевич Ульяновский» печатается по книге писателя «За круглым столом прошлого: Воспоминания» (1971).

Заметка И. Халымбаджи «Достоверность невероятного» публикуется по газете «Наука Урала» (1987. № 38 (340). 7 окт.), где была впервые напечатана по псевд. «В. Сизов».

Оглавление

Путь колеса	5
Колесо	204
 <i>Приложения</i>	
<i>К. Паустовский. Писатель Ульяновский</i>	231
<i>К. Паустовский. Военнопленный Ульяновский</i>	234
<i>Л. Борисов. Антон Григорьевич Ульяновский</i>	241
<i>И. Халымбаджа. Достоверность невероятного</i>	246
 Об авторе	 248

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.